ЖИВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

С. Г. Писахов

ЛЕДЯНА КОЛОКОЛЬНЯ

С. Г. ПИСАХОВ

С. Г. Писахов

ЛЕДЯНА КОЛОКОЛЬНЯ

Сказки и очерки

Москва
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1982

Р
84Р7
П34

Составление **Л. Ю. Шульман**

Иллюстрации **И. Бурмагиной**

Оформление **А. Ф. Сергеева**

Писахов С. Г.
П34 Ледяна колокольня: Сказки и очерки/Сост. Л. Ю. Шульман.— М.: Сов. Россия, 1992.— 320 с.— (Живое русское слово).

Книгу составили лучшие произведения Степана Григорьевича Писахова (1879—1960) — русского советского писателя-сказочника.

С глубоким лиризмом и чуткостью рассказывает писатель о суровой северной природе, о быте поморов. Сказки Писахова, уходя своими истоками в поморский фольклор, в живую народную речь, являются миниатюрами с характерным сочетанием мягкого юмора, тонкого лиризма и сатирической гиперболизации.

Книгу дополняют очерки автобиографического характера.

П $\frac{4702010201-040}{М-105(03)92}$ 91—92 84Р7

ISBN 5—268—01429—3

ОТ АВТОРА

Сочинять и рассказывать сказки я начал давно, записывал редко.

Мои деды и бабка со стороны матери родом из Пинежского района. Мой дед был сказочник. Звали его сказочник Леонтий. Записывать сказки деда Леонтия никому в голову не приходило. Говорили о нем: большой выдумщик был, рассказывал все к слову, все к месту. На промысел деда Леонтия брали сказочником.

В плохую погоду набивались в промысловую избушку. В тесноте да в темноте: светила коптилка в плошке с звериным салом. Книг с собой не брали. Про радио и знати не было. Начинает сказочник сказку длинную или бывальщину с небывальщиной заведет. Говорит долго, остановится, спросит:

— Други-товарищи, спите ли?

Кто-нибудь сонным голосом отзовется:

— Нет, еще не спим, сказывай.

Сказочник дальше плетет сказку. Коли никто голоса не подаст, сказочник мог спать. Сказочник получал два пая: один за промысел, другой за сказки.

Я не застал деда Леонтия и не слыхал его сказок.

С детства я был среди богатого северного словотворчества. В работе над сказками память восстанавливает отдельные фразы, поговорки, слова. Например:

— Какой ты горячий, тебя тронуть — руки обожжешь.

Девица, гостья из Пинеги, рассказывала о своем житье:

— Утресь маменька меня будит, а я сплю-тороплюсь!

При встрече старуха спросила:

— Што тебя давно не видно, ни в сноп, ни в горсть?

Спрашивали меня, откуда беру темы для сказок? Ответ прост:

> Ведь рифмы запросто со мной живут,
> две придут сами, третью приведут.

Сказки пишу часто с натуры, почти с натуры. Многое помнится и многое просится в сказку. Долго перечислять, что дало ту или иную сказку. Скажу к примеру. Один заезжий спросил, с какого года я живу в Архангельске.

Секрет не велик. Я сказал:

— С 1879 года.

— Скажите, сколько домов было раньше в Архангельске?

Что-то небрежно-снисходительное было в тоне, в вопросе. Я в тон заезжему дал ответ:

— Раньше стоял один столб, на столбе доска с надписью: А-р-х-а-н-г-е-л-ь-с-к.

Народ ютился кругом столба.

Домов не было, о них и не знали. Одни хвойными ветками прикрывались, другие в снег зарывались, зимой в звериные шкуры завертывались. У меня был медведь. Утром я вытряхивал медведя из шкуры, сам залезал в шкуру. Тепло ходить в медвежьей шкуре, и мороз — дело постороннее. На ночь шкуру медведю отдавал...

Можно было сказку сплести. А заезжий готов верить. Он попал в «дикий север». Ему хотелось полярных впечатлений.

Оставил я заезжего додумывать: каким был город без домов.

В 1924 году в сборнике «На Северной Двине» напечатана моя первая сказка «Не любо — не слушай. Морожены песни».

С Сеней Малиной я познакомился в 1928 году. Жил Малина в деревне Уйме, в 18 километрах от города. Это была единственная встреча. Старик рассказывал о своем тяжелом детстве. На прощанье рассказал, как он с дедом «на корабле через Карпаты ездил» и «как собака Розка волков ловила». Умер Малина, кажется, в том же 1928 году.

Чтя память безвестных северных сказителей — моих сородичей и земляков,— я свои сказки веду от имени Сени Малины.

Ст ПИСАХОВ

СКАЗКИ

НЕ ЛЮБО — НЕ СЛУШАЙ

Про наш Архангельский край столько всякой неправды да напраслины говорят, что придумал я сказать все, как есть у нас. Всю сущу правду, что ни скажу — все правда. Кругом земляки, соврать не дадут. К примеру, река наша Двина в узком месте тридцать пять верст, а в широком — шире моря. А ездили по ней на льдинах вечных. У нас и ледяники есть. Таки люди, которы ледяным промыслом живут. Льдины с моря гонят да дают в прокат, кому желательно.

Запасливы старухи в вечных льдинах проруби делали. Сколько годов держится прорубь!

Весной, чтобы занапрасно льдина с прорубью не таяла, ее на погребицу затаскивали — квас, пиво студили. В стары годы девкам в придано первым делом вечну льдину давали, вторым делом — лисью шубу, чтобы было на чем да в чем за реку в гости ездить.

Летом к нам много народу приезжат. Вот придут

к ледянику да торговаться учнут, чтобы дал льдину получше, а взял бы по три копейки с человека. А транвай в те поры брал пятнадцать копеек.

Ну, ледяник ничего, для виду согласен. Подсунет дохлу льдину — стару, иглисту, чуть живу (льдины хоть и вечны, да и им век приходит).

Приезжи от берега отъедут верст с десяток, тоже как путевы, песню заведут. Наши робята уж караулят — крепкой льдиной толконут, стара-то и сыпаться начнет. Приезжи завизжат: «Ой, тонем, ой, спасите!»

Ну, робята подъедут на крепких льдинах, обступят: «По целковому с рыла, а то вон и медведь плывет, да и моржей напустим!»

А мишки белы с моржами, вроде как на жалованье али на поденщине,— свое дело знают. Уж и плывут. Приезжи с перепугу платят по целковому. Впредь не торгуйся! А мы-то сами хорошей конпанией наймем льдину. Сначала пешней попробуем, сколько ей годов узнам, коли больше ста — не возьмем, коли сотни нет — значит, к делу гожа; у нас и старики, которым меньше ста, козырем ходят.

На льдину сядем, парус для скорости поставим, а от солнца зонтики растопырим, чтобы не очень припекало. У нас летом солнце-то не закатыватся: ему на одном месте стоять скучно, ну, оно и крутит по небу. В сутки раз пятьдесят обернется, а коли погода хороша да поветерь, то и семьдесят; коли дождь да мокреть, так солнце отдыхат, стоит.

А на том берегу всяка благодать, всяческо благорастворение. Морошка крупна, ягоды по три фунта и боле, и всяка друга ягода.

Семга да треска сами ловятся, сами потрошатся, сами солятся, сами в бочки ложатся. Рыбаки только бочки порозны к берегу подкатывают да днища заколачивают. А котора рыба побойче — выпотрошится да в пи-

рог завернется. Семга да палтусина ловче всех рыб в пирог заворачиваются. Хозяйки только маслом смазывают да в печку подсаживают.

Белы медведи молоком торгуют — приучены. Белы медвежата семечками и папиросами промышляют. Птички всяки чирикают: полярны совы, чайки, гаги, гагарки, гуси, лебеди, северны орлы, пингвины.

Пингвины у нас хоть не водятся, но приезжают на заработки, с шарманкой ходят да с бубном, а ины облизьяной одеваются, всяки штуки представляют, им и не пристало облизьяной одеваться — ноги коротки, ну, да мы не привередливы, нам хоть и не всамделишна облизьяна, лишь бы смешно было.

А в большой праздник да возьмутся пингвины с белыми медведями хороводы водить, да еще вприсядку пустятся, ну, до уморенья! А моржи да тюлени с нерпами у берега в воде хлюпают да поуркивают — музыку делают по-своему.

А робята поймают кита или двух, привяжут к берегу и заставят для прохлаждения воздуха воду столбом пускать. А бурым медведям ход настрого запрещен. По-зажилью столбы понаставлены и надписи на них: «Бурым медведям ходу нет».

Раз вез мужик муки мешок. Это было вверху, выше Лявли. Вот мужик и обронил мешок в лесу. Медведь нашел, в муке вывалялся весь и стал па манер белого. Стащил лодку да приехал в город: его водой да поветерью несло, он рулем ворочал. До рынка доехал, на льдину пересел. Думал сначала промышлять семечками да квасом, а как разживется, и самогоном торговать. Да его узнали — как не узнать? — обличье-то показало! Что смеху было! В воде выкупали. Мокрехонек, фыркат, а его с хохотом да с песнями робята за город прогнали.

Медведь заплакал от обиды. Народ у нас добрый: дали ему вязку калачей с анисом, сахару полпуда да велели кой-когда за шаньгами приходить.

СЕВЕРНО СИЯНИЕ

Летом у нас круглы сутки светло, мы и не спим: день работам, а ночь гулям да с оленями вперегонки бегам. А с осени к зиме готовимся. Северно сияние сушим. Спервоначалу-то оно не сколь высоко светит.

Бабы да девки с бани дергают, а робята с заборов. Надергают эки охапки! Оно что — дернешь, вниз головой опрокинешь — потухнет, мы пучками свяжем, на подволоку повесим, и висит на подволоке, не сохнет, не дохнет. Только летом свет терят. Да летом и не под нужду, а к темному времени опять отживается.

А зимой другой раз в избе жарко, душно — не продохнуть, носом не проворотить, а дверь открывать нельзя: на улице мороз щелкат. Возьмем северно сияние, теплой водичкой смочим и зажжем. И светло так горит, и воздух очищат, и пахнет хорошо.

Девки у нас модницы, выдумщицы, северно сияние в косах носят — как месяц светит! Да еще из сияния звезд наплетут, на лоб налепят. Страсть сколь красиво! Просто андели!

Про наших девок в песнях пели:

У зари, у зореньки
Много ясных звезд,
А в деревне Уйме им и счету нет!

Девки по деревне пойдут — вся деревня вызвездит.

ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ

По осени звездный дождь быват. Как только он зачастит, мы его собирам, стараемся.

Чашки, поварешки, ушаты, крынки, ладки, горшки и квашни, ну, всяку к делу подходящу посуду вытащим под звездный дождь. Дождь в посудах устоится, стихнет. Мы в бочки сольем, под бочки хмелю насыплем.

Пиво тако крепко живет. Мы этим пивом добрых людей угощали во здоровье, а полицейских злыдней этим же пивом так звезданем, что от нас кубарем катятся.

Да это не сказка кака, а взаболь у нас так: кругом народ читающий, знающий, соврать не дадут. У нас так и зовется: «не любо — не слушай».

МОРОЖЕНЫ ПЕСНИ

В прежно время к нам заграничны корабли приезжали за лесом. От нас лес увозили. Стали и песни увозить.

Мы до той поры и в толк не брали, что можно песнями торговать.

В нашем обиходе песня постоянно живет, завсегда в ходу. На работе песня — подмога, на гулянье — для пляса, в гостьбе — для общего веселья. Чтобы песнями торговать — мы и в уме не держали.

Про это дело надо объяснительно обсказать, чтобы сказанному вера была. Это не выдумка, а так дело было.

В стары годы морозы жили градусов на двести, на триста. На моей памяти доходило до пятисот. Старухи сказывают — до семисот бывало, да мы не очень верим. Что не при нас было, того, может, и вовсе не было.

На морозе всяко слово как вылетит — и замерзнет! Его не слышно, а видно. У всякого слова свой вид, свой цвет, свой свет Мы по льдинкам видим, что сказано, как сказано. Ежели новость кака али заделье — это, значит, деловой разговор — домой несем, дома в тепле слушам, а то на улице в руках отогрем. В морозны дни мы при встрече шапок не снимали, а перекидывались мороженым словом приветным. С той поры повелось говорить: словом перекидываться. В морозны дни над Уймой морожены слова веселыми стайками перелетали от дома к дому да через улицу. Это наши хозяйки ново-

стями перебрасывались. Бабам без новостей дня не прожить.

Как-то у проруби сошлись наша Анисья да сватья из-за реки. Спервоначалу ладно говорили, слова сыпали гладкими льдинками на снег, да покажись Анисье, что сватья сказала кисло слово. По льдинке видно.

— Ты это что?— кричит Анисья,— како слово сказала? Я хошь ухом не доймую, да глазом вижу!

И пошла, и пошла, ну, прямо без удержу, до потемни сыпала. Сватья тоже не отставала, как подскочит (ее злостью подбрасывало) да как начнет переплеты ледяны выплетать. Слова-то — все дыбом.

А когда за кучами мерзлых слов друг дружку не видно стало, разошлись. Анисья дома свекровке нажалилась, что сватья ей всяких кислых слов наговорила.

— Ну и я ей навалила, только бы теплого дня дождаться, оно хошь и задом наперед начнет таять, да ее, ругательницу, насквозь прошибет!

Свекровка-то ей говорит:

— Верно, Анисьюшка, уж вот как верно твое слово. И таки они горлопанихи на том берегу, просто страсть! Прошлу зиму я отругиваться бегала, мало не сутки ругалась, чтобы всю-то деревню переругать. Духу не переводила, насилу отругалась. Было на уме еще часик-другой поругаться, да опара на пиво была поставлена, боялась, кабы не перестояла. Посулилась еще на спутье забежать поругать.

А малым робятам забавы нужны — матери потаковщицы на улицу выбежат, наговорят круглых ласковых слов. Робята ласковыми словами играют, слова блестят, звенят музыкой. За день много ласковых слов переломают. Ну да матери на ласковы слова для робят устали не знают.

А девкам перво дело песни. На улицу выскочат, от мороза подол на голову накинут, затянут песню старинну, длинну, с переливами, с выносом! Песня мерзнет

-500°
-300°
-200°
-200°

колечушками тонюсенькими-тонюсенькими, колечушко в колечушко, отсвечиват цветом каменья драгоценного, отсвечиват светом радуги. Девки из мороженых несен кружева сплетут да всяки узорности. Дом по переду весь улепят да увесят. На конек затейно слово с прискоком скажут. По краям частушек навесят. Где свободно место окажется, приладят слово ласково: «Милый, приходи, любый, заглядывай!»

Нарядне нашей деревни нигде не было.

Весной песни затают, зазвенят, как птицы каки невиданны запоют!

С этого и повелась торговля песнями.

Как-то шел заморской купец, он зиму проводил по торговым делам, нашему языку обучался. Увидал украшенье — морожены песни — и давай от удивленья ахать да руками размахивать.

— Ах, ах, ах! Ах, ах, ах! Кака распрекрасна интересность диковинна, без всякого береженья на само опасно место прилажена!

Изловчился купец да отломил кусок песни, думал — не видит никто. Да, не видит, как же! Робята со всех сторон слов всяческих наговорили, и ну в него швырять. Купец спрашиват того, кто с ним шел:

— Что за штуки колки каки, чем они швыряют?

— Так, пустяки.

Иноземец и «пустяков» набрал охапку. Пришел домой, где жил, «пустяки» по полу рассыпал, а песню рассматривать стал. Песня растаяла да только в ушах прозвенела, а «пустяки» на полу тоже растаяли да запоскакивали кому в нос, кому в рыло. Купцу выговор сделали, чтобы таких слов в избу не носил.

Иноземцу загорелось песен назаказывать: в свою страну завезти на полюбование да на прослушанье.

Вот и стали песни заказывать да в особы ящики складывать (таки, что термоящиками прозываются). Пес-

ню уложат да обозначат, которо — перед, которо — зад, чтобы с другого конца не начать. Больши кучи напели. А по весне па пароходах и отправили. Пароходищи нагрузили до труб. В заморску страну привезли. Народу любопытно, каки таки морожены песни из Архангельскова? Театр набили полнехонек.

Вот ящики раскупорили, песни порастаяли да как взвились, да как зазвенели! Да дальше, да звонче, да и всё. Люди в ладоши захлопали, закричали:

— Еще, еще! Слушать хотим!

Да ведь слово не воробей, выпустишь — не поймашь, а песня, что соловей, прозвенит — и вся тут. К нам письма слали и заказны, и просты, и доплатны, и депеши одну за другой: «Пойте больше, песни заказывам, пароходы готовим, деньги шлем, упросом просим: пойте!»

Коли деньги шлют, значит, не обманывают. Наши девки, бабы и старухи, которы в голосе,— все принялись песни тянуть, морозить.

Сватьина свекровка, ну, та сама, котора отругиваться бегала, тоже в песенно дело вошла. Поет да песенным словом помахиват, а песня мерзнет, как белы птицы летят. Внучка старухина у бабки подголоском была. Бабкина песня — жемчуга да брильянты-самоцветы, внучкино вторенье, как изумруды.

Девки поют, бабы поют, старухи поют.

Песня делам не мешат, рядом с делом идет, доход дает.

Во всех кузницах стукоток, брякоток стоит — ящики для песен сколачивают.

Мужики бороды в стороны отвернули, с помешки чтобы бороды слов не задерживали.

— Дакосе и мы их разуважим, свое «почтение» скажем.

Ну, и запели!

Проходящи мимо сторонились от тех песен. Льдины

летели тяжело, но складно. Нам забавно: пето не для нас, слушать не нам.

Для тех песен особы ящики делали и таки большущи, что едва в улице поворачивали. К весне мороженых песен больши кучи накопились.

Заморски купцы приехали. Деньги платят, ящики таскают, на пароход грузят и говорят:

— Что таки тяжелы сейгод песни?

Мужики бородами рты прикрыли, чтобы смеху не было слышно, и отвечают:

— Это особенны песни, с весом, с особенным уважением в честь ваших хозяев напеты. Мы их завсегда очень уважам. Как к слову приведется, каждый раз говорили: «Кабы им ни дна ни покрышки». Это-то, по-вашему, значит — всего хорошего желам. Так у нас испокон века заведено. Так всем и скажите, что это от архангельского народу особенно уважение.

Иноземцы и обрадели. Пароходы нагрузили, флагами обтянули, в музыку заиграли. Поехали. Домой приехали, сейчас афиши и объявления в газетах крупно отпечатали, что от архангельского народу особенно уважение заморской королеве: песни с весом!

Король и королева ночь не спали, спозаранку задним ходом в театр забрались, чтобы хороши места захватить. Их знакома сторожиха пропустила.

Вот ящики поставили и все разом раскупорили. Ждут. Все вперед подались, чтобы ни одного слова не пропустить.

Песни порастаяли и начали звенеть.

На что заморски хозяева нашему языку не обучены, а поняли!

УЙМА В ГОРОД НА СВАДЬБУ ПОШЛА

Вот моя старуха сердится за мои рассказы, корит — зачем выдумываю.

А ежели выдумка — правда? Да моя-то выдумка, коли на то пошло, дак верне жониной правды.

К примеру хошь: стоит вот дом, в котором живу, в котором сичас сижу.

По-ённому, по-жониному, дом на четвереньках стоит — на четырех углах. А по-моему, это уже выдумка. Мой дом ковды как выстанет — и все по-разному.

В утрешну рань, коли взглядывать мельком, дом-то после ночи, после сна при солнышке весь расправится, вздынется да станет всяки штуки выделывать: и так и сяк повернется, а сам довольнехонек, окошками светится, улыбается.

Коли в дом глазами вперишься, то он стоять будет, как истукан, не шевельнется, только крыша на солнце зарумянится.

Глядеть нужно вполглаза, как бы ненароком.

Да что дом! Баня у меня и вся-то никудышна: скособочилась, как старуха, да как у старухи-табашницы под носом от табаку грязно, у бани весь перед от дыму закоптел.

Вот и было единово эко дело: глянул я на баню вполглаза, а баня-то, как путева постройка, окошечком улыбочку сосветила, коньком тряхнула, сперва поприсела, потом подскочила и двинулась, и пошла!

Я рот разинул от экой небывалости, в баню глазами уставился,— баня хошь бы што: банным полком скрипнула да мимо меня ходом.

Гляжу — за баней овин вприпрыжку без оглядки бежит, баню догонят.

Ну, тут и меня надо. Скочил на овин и поехал!

А за мной и дом со свай сдвинулся: охнул, поветью, как подолом, махнул, поразмялся на месте — и за мной.

По дороге как гулянка кака невиданна. Оно, может быть, и не первый раз дело эко, да я-то впервой увидал.

Дома степенно идут, не качаются, для форсу крыши

набекрень, светлыми окошками улыбаются, повети распустили, как наши бабы сарафанны подолы на гулянке. Которы дома крашены да у которых крыши железны — те норовят вперед протолкаться. А бани да овины, как малы робята, вперегонки.

— Эй, вы, постройки, постойте! Скажите, куды спешите, куды дорогу топчете?

Дома дверями заскрипели, петлями дверными завизжали и такой мне ответ дали:

— В город на свадьбу торопимся. Соборна колокольня за пожарну каланчу взамуж идет. Гостей уйму назвали. Мы всей Уймой и идем.

В городу нас дожидались. Невеста — соборна колокольня — вся в пыли, как в кисейном платье, голова золочена — блестит кокошником.

Мучной лабаз — сват в удовольствии от невестиного наряду:

— Ах, сколь разнарядно! И пыль-то randa стародавня. Ежели эту пыль да в нос пустишь — всяк зачихат.

Это слово сватово на издевку похоже: невеста — перестарок, не нерву сотню стоит да на постройки заглядыватся.

Сам сват — мучной лабаз подскочил, пыль пустил тучей.

Городски гости расфуфырены, каменны дома с флигелями пришли, носы кверху задрали. Важны гости расчихались, мы в ту пору их, городских, порастолкали, наперед выстали — и как раз в пору.

Пришел жоних — пожарна каланча, весь обшоркан. Щикатурка обвалилась, покраска слиняла, флагами обвесился, грехи поприпрятал, наверху пожарный ходит, как перо на шляпе.

Пришли и гости жониховы — фонарны столбы, непогашенныма лампами коптят, думают блеском-светом удивить. Да куды там фонариному свету супротив бела

дня, а фонарям сухопарым супротив нашей дородности

Тут тако вышло, что свадьба чуть не расстроилась ведь.

Большой колокол проспал: дело свадебно, он все дни пил да раскачивался — глаза не вовсе открыл, а так впол просыпа похмельным голосом рявкнул:

По-чем треска?
По-чем треска?

Малы колокола ночь не спали — тоже гуляли всю ночь — цену трески не вызвали, наобум затараторили:

Две ко-пей-ки с по-ло-ви-ной!
Две ко-пей-ки с по-ло-ви-ной!

На рынке у Никольской церкви колоколишки — робята-озорники цену трески знали, они и рванули:

Врешь, врешь — полторы!
Врешь, врешь — полторы!

Большой колокол языком болтнул, о край размахнулся:

Пусть молчат!
Не кричат!
Их убрать!
Их убрать!

Хорошо еще други соборны колокола остроглазы были, наши приносы-подарки давно высмотрели и завыпевали:

К нам! К нам!
С пивом к нам!
К нам! К нам!
С брагой к нам!
К нам! К нам!
С водкой к нам!
К нам! К нам!
С чаркой к нам!
К нам! К нам!

Невеста — соборна колокольня ограду, как подол, за собой потащила. Жоних — пожарна каланча фонарями обставился да кой-кому из гостей фонари наставил. И пошли жоних и невеста круг собору.

Что тут началось, повелось! Кто «Во лузях» поет, кто «Ах вы, сени, мои сени». Колокола пляс вызванивают. Все поют вперегонки и без удержу.

Время пришло полному дню быть, городскому народу жить пора.

А дома-то все пьяным-пьяны, от круженья на месте свои места позабыли и кто на какой улице стоит, не знают. Тут пошла кутерьма, улицы с задворками переплелись!

Жители из домов вышли, кто по делам, кто по бездельям, и не знают, как идтить. Тудою, сюдою али етойдою?

Мы, уемски, домой весело шли. По дороге кто вдоль, кто поперек останавливались, дух переводили да отдыхали.

В ту пору ни конному, ни пешему пути не было.

Я на овине выехал, на овине и в Уйму приехал. Дом мой уж на месте стоит. Баня в свое гнездо за огородом ткнулась — спит пьяным спаньем, окошки прикрыла, как глаза зажмурила. Я в избу заглянул, узнать, как жона — заприметила ли, что в городу с домом была?

А жона-то моя, пока в дому мимо лавок в красном ряду кружила, себе обнов накупила, в новы обновы вырядилась, перед зеркалом поворачиватся, на себя любуется. И я засмотрелся, залюбовался и говорю:

— Сколь хороша ты, жонушка, как из орешка ядрышко!

Жона мне в ответ сказала:

— Вот этому твоему сказу, муженек, я верю!

БАНЯ В МОРЕ

В бывалошно время я на бане в море вышел.

Пришло время в море за рыбой идти. Все товарищи, кумовья, сватовья, братовья да соседи ладятся, собираются. А я на тот час убегался, умаялся от хлопот по своим делам да по жониным всяким несусветным выдумкам, прилег отдохнуть и заспал, да столь крепко, что криков, сборов и отчальной суматошни не слыхал.

Проснулся, оглянулся — я один из промышленников в Уйме остался. Все начисто ушли, суда все угнали, мне и догонять не на чем.

Я недолго думал. Столкнул баню углом в воду, в крышу воткнул жердину с половиком — вышла настояща мачта с парусом. Стару воротину рулем оборотил. Баню натопил, пару нагонил, трубой дым пустил.

Баня с места вскачь пошла, мимо городу пароходным ходом да в море вывернулась и мимо наших уемских судов на полюбование все кругами, все кругами, по воде вавилоны развела.

У бани всякий угол носом идет, всяка сторона — корма. Воротина-руль свое дело справлят, баня с того дела и заповорачивалась, поворотами большого ходу набрала.

Я в печке помешал, пару прибавил, сам тороплюсь — рулем ворочаю. Баня разошлась, углами воду за версту зараскидывала, небывалошну, невидалошну одноместну бурю подняла. Кругом море в спокое, берега киснут. А посередке, ежели со стороны глядеть, что-то вьется, пена бьется, вода брызжется и дым валит, как из заводской трубы.

До кого хошь доведись, переполошится. Со стороны глядеть — похоже и на животину, и на машину. Животина страшна, а машина того страшне. Ну, страшно-то не мне да не нашим уемским.

Рыбы народ любопытный, им все надо знать, а в бане новости завсегда самы свежи, самы новы. Рыбы к бане со всех сторон заторопились.

А мы промышлям.

С судов промышляют по-обнаковенному, по старому заведению. А я с бани рыбу стал брать по-новому, по-банному. Шайкой в воде поболтаю, рыба думат: ее в гости зовут — и в шайку стайками, а к бане косяками. Мне и сваливать рыбу места нет: на полок немного накладешь. Стали наши рыбацки суда чередом да всяко в свою очередь к бане подходить. Я шайкой рыбу черпаю, бочки набью, трюма накладу, на палубе выше бортов навалю, полно судно отходит, друго подходит. Это дело с краю бани, а в середке баня топится, народ в бане парится, рябиновыми вениками хвощется. От рябинового веника пару больше, жар легче и дух вольготнее.

Чтобы дым позанапрасно не пропадал, в трубе коптилку завели. Это уж без меня. Я баню топил да рыбу ловил.

В коротком времени все суда полнехоньки рыбой набил. Судно не брюхо, не раздастся, больше меры в него не набьешь. Набрали рыбы, сколько в суда да в нас влезло. Остальну в море на развод оставили.

К дому поворотились гружены суда. Тут я с баней расстался, за дверну ручку попрощался. Домой пошли — я на заднем суденышке сел на корме да на воду муку стал легонько трусить. Мука на воде ровненькой дорожкой от бани до Уймы легла. Легла мучка на морску воду, на рассоле закисла разом и тестяной дорожкой стала.

За нами следом зима шла, морозом пристукнула, вода застыла. Тестяная дорожка смерзлась от середки моря до самой нашей деревни.

Мы в ту зиму на коньках в баню по морю бегали.

Рыбы учуяли хлебный дух тестяной дорожки и по

обе стороны сбивались видимо-невидимо, мамаевыми полчищами. Мы в баню идем — невода закидывам, вы моемся, выпаримся, в морской прохладности продышимся, невода рыбой полнехоньки на лыжи поставим. На коньках бежим, ветру рукавицей помахивам, показывам, куда нам поветерь нужна.

У нас в банных вениках пар не успевал остывать, вот сколь скоро домой доставлялись.

Всю зимушку рыбу ловили, а в море рыбы не переловишь.

С того разу и повелись зимны рыбны промыслы. Весной лед мякнуть стал, рыбьи стаи тестяну дорожку растолкали, и понесло ее по многим становищам хорошему народу на пользу. К весне тесто в море в полну пору выходило. Промышленники тесто из моря в печки лопатами закидывали. Который кусок пекся караваем, а который рыбным пирогом — рыба в тесто сама влипала. Просолено было здорово. Поешь, осолонишься и опосля чай пьешь в охотку.

С той поры, как баня жаром да паром море нагревать стала, и потепление пошло, и льды пораздвинулись, и зимы легче стали.

БЕЛЫ МЕДВЕДИ

Вот теперича на Нову Землю ездить стало нипочем. А в старо время, когда мы, промышленники, туда дорогу протаптывали, своими боками обминали, солоно доставалось.

К примеру, скажу о первой попаже на Нову Землю и как белы медведи меня ловили, а я их поймал.

Пришел, значит, пароход к Новой Земле. Меня на берег выкинули. Да как выкинули! От берега далеко остановились: к месту подхода не знали. Чиновник, что начальствовал на пароходе, говорит:

— Нет расчета в опасно место соваться, к берегу подходить, швырнем на веревке, за веревку промыслом заплатит.

Меня веревкой обвязали, размахали, да и кинули на берег. Свистком посвистели, дымом, как хвостом, накрылись и ушли.

Остался я один. Кругом голо место, и посередке камень торчит, и всего один. А у берега лесу нанесло множество.

Я веревку за камень прихватил, другим концом давай бревна на берег вытаскивать. И стал дом строить.

Выстал дом уж высоко, только окон да дверей не прорубил, топора не было, да крышей не успел покрыть.

Место, в которо меня выкинули с парохода, медвежье было, проходно для медведей, вроде медвежьего постоялого двора. Белый медведь высмотрел меня и ко мне со всех ног, а мне куда себя девать? Место голо, в дом без дверей да без окошек не скочишь. Я привязался к концу веревки да от медведя кругом камня, а медведь за мной, что сил есть, ухлестыват. Веревка натянулась, я оттолкнулся ногами от земли, меня на натянутой веревке и понесло кругами.

Медведь по земле лапы оттаптыват. Я ногу на ногу закинул, цигарку закурил, дым пустил, медведя криком подгоняю. Мне что, меня выносом несет, я и устали не знаю, сижу себе да кручусь.

Медведь из силы выбился, упал, ему дыханье сперло. Я веревку укоротил, медведя дернул за хвост, в дом бескрышной закинул.

Гляжу — опять медведь. Я и этого таким же ходом прокрутил до уморенья и в дом закинул. Медведи один за одним идут и идут.

Мне дело стало привычно, я и ловлю.

К осеннему пароходу наловил медведей ровно сто!

Чиновник счет-расчет произвел, высчитал с меня и

за землю, и за воду, и за всех сто медведей. Мне один пятак дал. Пятак дал, да две копейки с грошом отобрал на построение кабака и говорит:

— Понимай нашу заботу о вас, мужиках. Здесь на пустом месте кабак поставим да попа со звоном посадим. Это когда с вас, мужиков, денег пасобирам.

Я знал, что чиновники слушают, только когда им выгода есть. Я и подзадорил чиновника самому для себя медведей ловить. Чиновник до конца и слушать не стал, на наживу обзарился, веревкой обвязался — и бегом кругом камня! Я его словом подгоняю:

— Шибче бежи, ваше чиновничество, скоро медведь тебя увидит, за тобой побежит.

Медвежья пора прошла в этом месте.

Чиновник подскочил, веревка натянулась, чиновника высоко подняла. Заместо медведя наскочил ветрище с грозищей. Я только малость веревку надрезал. Ка-ак рванет чиновника! Веревка треснула.

Чиновника унесло. Над морем пронесло. В Норвегу, в город Варду, да там с громом, с молнией среди города с неба кинуло.

Норвеги в перепуге.

— Андели, что такое? — кричат, — не иначе как небесный житель из раю!

Поп норвежский в колокол зазвонил, кадилом замахал и к чиновнику пошел. Прочий народ дожидат дозволения прикладываться к небожителю.

Чиновник очухался, огляделся да как заорет на попа и на всех норвегов. Те слов не поняли, а догадались, о чем чиновник кричит. Попу говорят:

— Коли таки жители в раю, то мы в рай не хотим!

Норвежский полицейский просмотрел гостя, услыхал винной запах, увидал светлы пуговицы, признал чиновника и говорит:

— Этот нам нужен: чиновники для нас, полицей-

ских, первы помощники, народ в страхе держать да доходы собирать.

Поп норвежский свое кричит:

— Ни в жизнь не отступлюсь, ни в жизнь не отдам этого святого. В нашем поповском деле чиновник нужне, чем в вашем полицейском. А вам, полицейским, без нас, попов, с народом не справиться. Мы через этого святого большой доход заимем.

Чиновника унесло, мне легче стало. Я дом на воду столкнул. Хорошо, что без окон, без дверей,— вода не зашла. Медведей — всех сто — запряг и поехал на медведях по морю. Скоре всяких пароходов. Да что пароходы, им надо дорогу выбирать, а я и по воде и по суху на медведях качу. Под дом полозья из бревен наколотил, оно и легко. Дом вот этот самый, в котором сидим. Потрогай рукой, потопай ногой — настоящий, из заправдашнего леса. Тронь — и будешь знать, что я все правду говорю.

Медведи — ходуны, им все ходу дай. Запряг медведей и поехал по городам. За показ деньги брал и живьем продавал. Одного медведя купили для отсылу в Норвегу, сказывали, чиновник заказывал купить.

Пожалел я норвегов, что все еще со святым возятся, да подумал: «Натерпятся — сами за ум возьмутся».

БРЮКИ ВОСЕМНАДЦАТЬ ВЕРСТ ДЛИНЫ

Выспался я во всю силу. Проснулся, ногами в поветь уперся и потянулся легкой потяготой. До города вытянулся — до города не сколь далеко, всего восемнадцать верст. Вытянулся по городу до рынка, до красного ряда, где всякима материями торгуют.

Купцы лавки отворили. Чиновники да полицейски в лавки шмыгнуть хотели, взять с купцов по взятке — это для почину, кому сколько по чину.

Я руки разминаю после хорошего спанья, чиновни ков по болотам, по трясинам кинаю. Полицейски под ступиться боятся.

Модницы-чиновницы пришли деньги транжирить мужья не трудом наживали, жонам нетрудно проживать. Я топтать себя разрешения не дал – модницам до лавок ходу нет

Купцы ко мне с поклоном и с вежливым разговором:

— Ах, как оченно замечательно хорошо, Малина, что ты чиновников и полицейских по болотам распределил. Они хоть нам и помогают, да умеют и с нас шкуру сдирать. А без модниц мы за выручкой сидим без выручки. Сколько хочешь отступного за освобождение прохода?

— До денег я не порато падок, сшейте мне штаны на теперешный мой рост. Рубаху с вас не прошу — домоткаипу ношу. Мера штанам, пока дальше не вытянулся, восемнадцать верст, прибавьте на рост пять верст.

У купцов брюха подтянулись, рожи вытянулись, рожи покраснели, глаза побелели. Купцы и рады бы полицейских позвать, да те далеко, до болота не ближной конец!

Материю собрали, штаны сшили восемнадцативерстовые с пятиверстовым запасом. Я рынок освободил: вызнялся у себя на повети. Брюки упали матерчатой горой, всю деревню завалили. На мой рост один аршин с малым прибавком надо.

По жониному зову все хозяйки сбежались с ножницами, с иголками и принялись кроить, резать, шить, петли метать, пуговицы пришивать. В одночасье все мужики, старики и робята в новы брюки оделись, всем достало. У нас с тех пор ни один мужик, ни один старик без брюк не ходит. Приезжайте, поглядите.

Купцы с нас во все времена тянули, сколько их си лы было. Довелось и мне потянуться и с купцов стянуть штаны на всю деревню.

МЕДВЕДЬ ОТ ПОПОВСКОГО НАШЕСТВИЯ ИЗБАВИЛ

Потянулся я да в лес.

А утром ранним да при первом солнышке всяко место праздником живет. И дерёва, и кустики, и травка расправляются, улыбаются, здороваются. Птицы и всяка живность празднуют всяк по-своему.

Я бы, может, и долго на праздник утрешний глядел (ведь всяк день по-новому), да увидел наших хозяек домовитых, деловитых, по грибы, по ягоды торопят себя, заветными дорожками кривуляют, одна другу обгоняют. Кажна норовит вперед заскочить и ягодны, грибны места захватить.

Мне ихны места не подо что, я свои найду. Потянулся я за болотны топи-трясины, куда ни ногой не пройдешь, ни лодкой не проедешь. Грибов там! Место не тревожено, грибница не рвана, не порчена. Грибы живут большущими артелями, кучами с деревню. Я рукой махнул — и разом на две двурушных корзины сгреб.

Рукой помахиваю с грибного места в деревню, всем хозяйкам к дому, к самому порогу по этакой охапке грибов поставил, ну, и своей жоне столько же и с прибавком.

Повернулся на ягодны места.

На нетоптаных местах, па неломаных кустах ягод-то, ягод! Видимо-невидимо!

Я вытянутой рукой, пригоршней чуть шевельнул и собрал — ежели на пуды, то, пожалуй, с два, да что с два, прямо скажу — пять пудов ягод в одну горсть собрал!

Я без торопливости, чтобы ягоды не мять, стал их пригоршнями собирать и всем хозяйкам к дому по горсти пятипудовой насыпал. И своей хозяйке тоже.

Сел на повети, у меня и устали нет, ногами не топал, а руками помахал, только поразмялся.

Грибницы, ягодницы домой шли усталы, сердиты, переругивались, а как увидали грибы да ягоды у своих изб — все заулыбались, голоса ласково зазвенели, будто песни запели, и с мужиками не ругались.

На всю деревню одна попадья своего Сиволдая всяко ругала, что без ягод, без грибов осталась. Нам-то чужо дело и вроде как забавно.

Поп Сиволдай в большом недовольствии был. Как так! Вся деревня в согласии, вся деревня с ягодами, с грибами, а он, поп, с руганью?

Свернулся, скрутился поп Сиволдай и в город уехал, а жалиться не на что. И стал Сиволдай чужим добром хвастать. Всем протопопам, попам стал рассказывать, каки около Уймы места ягодны да грибны. Ягод, грибов брать не обрать, да еще останется.

Весь поповский народ в один голос пропел:

Коли мы придем,
То все соберем.
Окроме нас,
Никому ничего не достанется.
После нас
Ни ягод, ни грибов не останется!

А я после ягод да грибов, потягиваясь, повернулся по лесу, высмотрел медведей в логовах-берлогах. К медведям телефоны провел. Коли на охоту идтить, так сперва справиться, дома ли, чтобы занапрасно время не терять и самому не уставать.

С ближним медведем я часто разговаривал. С повети позвоню, а медведь один, некому за него отговориться, что дома нету, ну, и мырчит:

— М-м-м?

— Мишенька, это я говорю, Малина.

— М-м.

Это значит: слушат. Медведь слушат хорошо, ежели

разговор с «мы» начнешь. Перво дело он сам «мы» — медведь, а второ дело «мы» — малина, мед, масло — это медведю первеюще угощенье, ну, и други «мы» — мясо, молоко — медведь хорошо слушат.

С ближним медведем у меня большо согласие было, он наших коров не трогал, был вроде пастуха, а мы его шаньгами угощали но праздникам. Медведь не любил, ежели к нему приходили, спать ему мешали, мне он люб уменьем сказки слушать. Я на повети сижу, каколибо дело справляю и по телефону медведю сказку плету — без слушателя сказка не складыватся. Медведь слушат, а у меня сказки накапливаются.

Медведь-то нас от поповского нашествия избавил.

Собрались городски попы к нам по ягоды, по грибы. От поповского ходу дорога стемнела, столько их шло. Пришли с вечера, утром до свету на наши места заповедны двинулись темной тучей ползучей.

Я медведю по телефону позвонил — медведь сытый был, спал еще, спросонок добрым голосом ответил:

— М-м-м?

— Мишенька, толстолапонька, пугни-ка поповску ораву, в наш лес по грибы пошли, хотят всю малину обрать, тебе ягодки не оставят.

Медведь, слышу, живот сытый чешет, лень медведю выходить:

— М-м-м...

— Мишенька, толстомясонька, попы идут, дьяконов ведут, все ягоды соберут, много сожрут, больше того притопчут.

— М-м... м-м...

Покряхтел медведь у телефона и еще гукнул: м-м. И трубку повесил. Слышу: взревел медведь на весь лес, на все болота, на всю округу — нагнал страху-оторопи на всех Сиволдаевых гостей.

Бросилось все черно стадо из лесу, за кочки зани-

наются, за кусты цепляются, длинны подолы обрывают, в мокры места просаживаются, в сухих хвойниках перевертываются.

Медведь только пятерым-десятерым легонько лапой по заду цапнул, и то играючи — медведь-то сытый был. А что крику поднялось! Страсть!

Попы на меня судье жалобу подали, да пожалели, поскупились к жалобе добавлепье масляное али денежное сделать. Судья на них осердился, едва читат, едва слушат.

Меня в город вытребовали. Мне что: зовут — пришел, не я жалобу подавал, не мне взятку давать.

Судья меня сердито спрашиват:

— Ты медведя по лесу гонял, медведем попов пугал?

Мой ответ прост и короток:

— В ту пору пога моя из повети не выходила, кого хошь спроси — все одно скажут.

Судья к попам:

— Верно ли говорит Малина, что нога евонна с повети не выходила?

Главный протопоп руками махнул, и все запели:

— Это верно, это верно.

— Эээто вееернооо!

Судья в окончательность осердился, попам допеть не дал, книгой хлопнул, печатью пристукнул.

— Коли это верно, то в чужи места не суйтесь, па чужо добро не зарьтесь.

Хотели попы судью обругать, да штрафа побоялись.

В РЕКЕ ПОРЯДОК НАВЕЛ

Хорошо в утрешну пору потянуться — косточки вытягиваются, силушка прибавляется.

Ногами на повети уперся, а сам потянулся в реку

посмотреть, как там жизнь идет. В водяной прохладности большой беспорядок оказался. Щуки зубасты, горласты, мелку рыбу из конца в конец гоняют, жрут, глотают, настоящи водянны полицейски. И други больши рыбы за той же мелкотой охотятся. Я руки раскинул и первым делом давай щук из воды к себе на двор выкидывать, крупну семгу, стерлядь тоже не обходил — ловил.

Зубастых рыб стало меньше — мелкой рыбе легче. Рыбья мелкота обрадела, круг меня кружатся, своим рыбьим круженьем благодаренье мне высказывают, а сами веселятся без опаски, плавают, ныряют без оглядки.

Решил я им, мелким рыбешкам, еще удовольствие сделать. С берега малиновых кустов достал и в воду на речно дно посадил. Эта обнова рыбешкам очень по нраву пришлась: кусты — защита от рыб-прожор, ягоды — для еды. С той поры мелка рыба нам в промысле помогать стала: выйдем на рыбну ловлю, мелка рыба показыват, куда сети закидывать.

Уловы у нас пошли больши, прибыльны. Полицейски чиновники до чужого добра падки и тут не прозевали. Приехали к нам рыбу ловить. Невода закинули во всю реку, рыбу ловят в нашей воде, а мы слова не скажи.

Рыбья мелкота собралась скопом да артельным делом всякого хламу со дна в невода натолкала: и камней, и пней, и кокор, и грязи, и всего, что только лишне было. Дно вычистили, будто для праздничной гулянки.

Полицейски чиновники с большой натугой невода выволокли, хлам на берег вытряхнули, а не отступились, вдругорядь сети закинули.

Мелка рыбешка артелью сильна. И другой раз изготовилась: малиновы кусты за листики, за тонки веточки ухватила и ко дну пригнула, а колючи ветки кверху выгнула.

Потащили полицейски чиновники невода по дну, об колючки зацепили, прирвали и вытащили одно клочье от неводов.

И сделали постановление:

— В этом пустопорожнем месте дозволяется ловить рыбу беспрепятственно.

Нам то и надо. В прочищенной воде рыбы много пошло. Малиновы кусты на речном дне совсем другомя заросли, нежели на сухой земле, их рыбы обиходили.

Придет время ягодам поспевать — со дна реки, от кустов малиновых, наливка заподымается. Черпать надо поутру. Солнышко чуть осветит, чуть теплом дыхнет над рекой туман везде спокойной, а в одном месте забурлит самоварным кипятком, тут вот и малинова наливка.

Мы к тому месту подъезжали с чанами, с бочками, малинову наливку черпали порочками.

Малиновой наливки полны бочки сорокаведерны к каждому дому прикатывали, в ушатах добавочный запас делали. На малиновой наливке кисели варили, квасы разводили, малиновой наливкой малых робят поили, а для себя хмелю подбавляли, и делалась настояща виннопитейна настойка. С похмелья голова не болела и ум не отшибало.

Вот кака хорошесть да ладность от согласного житья. Я мелким рыбешкам жизнь устроил, а они мне втрое. Купаться пойду, нырну — ни на какой камешок не стукнусь: все мешающи камни в полицейских неводах вытащены.

ВЕТЕР ПРО ЗАПАС

Утром потянулся да вверх.

У нас в Уйме тишь светлая, безветрая. Потянулся

я до второго неба. А там ветряна гулянка, ветряны перегонки. Один ветер, молодой подросток, засвистал, бросился на меня — напугать хотел. Я руки раскинул, потянулся, охватил ветер охапкой, сжал в горсть, в комок и за пазуху сунул. Сунул бы в карман, да я в исподнем был, а на исподнем белье карманов не ношу.

Други шалуны-ветры на меня по два, по три налетали, силились с ног свалить. А как меня свалишь, коли ноги у меня на повети уперты!

Я молодых ветров, игровых, ласковых, много наловил. Ветры в лёте, в размахе широки, а возьмешь, сожмешь и места занимают всего ничего.

Стары ветры заворчали, заворочались, выручать молодых двинулись и на меня бросились один за одним. Я и их за пазуху склал. Староста ветряной громом раскатился, в меня штормом ударился, я и шторм смял. Наловил всяких разных ветров: суховейных, мокропогодных, супротивных, попутных. Ветрами полну пазуху набил. Ветры согрелись, разговаривать стали, которы поуркивают, которы посвистывают. Я ворот у рубахи застегнул, пояс подтянул, ветрам велел тихо сидеть, громко не сказываться. Сказал, что без дела никоторого не оставлю.

На поветь воротился — на мне рубаха раздулась: кабы не домоткана была рубаха, лопнула бы. Жона оглядела меня, кругом обошла, руками развела.

— Чем ты ек разъелся, поперек шире стал?

— Не разъелся, а ветром подбился.

Вытряс я ветры в холодну баню, на замок запер. Двери палкой припер. Это мой ветряной запас. Коли в море засобираюсь сам али соседи, я к судну свой ветер прилаживаю. Со своим ветром, всегда попутным, мы ходили скорее всяких пароходов. В тиху погоду ветер к мельничным размахам привязывали, ветром белье сушили, ветром улицу чистили и к другим разным домаш-

постям приспособляли. У нас ветер малых робят в люльках качал, про это и в песне поют:

> В няньки я тебе взяла
> Ветер...

Прибежал поп Сиволдай, чуть выговариват:

— Чем ты, Малина, дела устраиваешь, без расходу имешь много доходу? Дакосе мне этого самого приспособления.

У меня в руках был ветряной обрывок, собирался горницу пахать, я этот обрывок сунул Сиволдаю: на!

Попа ветром подхватило, на мачту для флюгарки закинуло. Сиволдай за конец мачты зацепился. Ветер озорник попался, не отстает, широку одёжу поновску раздул и кружит. Сиволдай что-то трещит по-флюгарошному. Долго поп над деревней крутился, нас потешал. Только с той поры поповска трескотня на нас действо потеряла, мимо нас на ветер пошла, мы слушать разучились.

НА УЙМЕ КРУГОМ СВЕТА

Взбрело на ум моей бабе свет поглядеть. Ежедённо мне твердит:

— Хочу круг света объехать, поглядеть на людско житье и где что есть. Да так объехать, чтобы здешних новостей не терять, чтобы тамошно видеть и про здешно знать: кто на ком женится, кто взамуж идет, у кого нова обнова, у кого пироги пекут.

— Баба, ты в город поедешь на полдён — уемских новостей короба накопятся. Тебе все на особицу надобно — и тут, и там все знать! Как так?

— Как сказала — так и делай, от свого не отступлюсь!

Я уж давно вызнал: с моей бабой спорить — время терять и себе одно расстройство.

Запасны ветры сгодились для дела. Я под Уймой в разных местах дыр навертел, а в дыры ветров натолкал. Уйму ветрами вызняло высоко над землей. С высоты широко видать.

Бабы забегали, заспорили, которой конец деревни носовой, которой кормовой? Остроносы кричат, что ихно место на носу, с носу перьвы все высмотрят, все всем расскажут.

Попадья со сватьей Перепилихой в большой спор взялись, чуть не в драку, которой кормой быть? Попадья кричит:

— Толще меня нет никого, про меня все говорят: шире масленицы. Я и буду кормой.

Перепилиха не отступает, на весь свет кричит:

— Я шире всех, на мне больше всех насдевано, я буду кормой, я буду Уймой в лёте править!

Чтобы баб угомонить, я под Уйму с разных концов сунул встречны ветры, они и держат деревню на одном месте. У деревни все стороны носовы-кормовы, со всех сторон вперед гляди.

Уйма на ветрах на месте стала, а земля свой ход не менят, под нами поворачивается.

У нас и день прошел чередом, и вечер череду отвел, и ночь стемнела, и обутрело, и опять до полдён. А земля под нами полным ходом идет, и на ней всю пору полдень, все время обеденно. Земля нам разны места показыват в полной ясности.

На ветряном держанье, с места не сходя, мы весь свет объехали. Сверху высмотрели житье-бытье в других краях. Сверху больше видать, все понятне.

Много стран оглядели, а жить нигде не захотели, окромя нашей Уймы. Наш край и в старо время был самолучшим, кабы не полицейски да чиновники.

С попом Сиволдаем и с урядником особо дело вы-

шло, они ничем-ничего не видали, ничего не понимающими и остались.

Сиволдай услыхал, что Уйма колыхнулась и шевелиться стала, от страху в колодец скочил и сел на дно. Воду из колодца на тот час всю на огороды вычерпали, как по заказу. На месте колодца осталось одно ничего, мокреть, а на ней поп Сиволдай сидит, от страху дыхнуть боится. Урядник, по примеру поповскому, в другой колодец полез, а колодец-то с водой, урядник чуть-чуть не утоп, шашкой в стенку колодца воткнулся, ногами растопырился — этак много верст продержался. Дно у колодца было тонко — поддонна земля осталась на земле. Где-то над чужой стороной вода из колодца выпала, урядника выплеснуло.

Завсегда говорят: не плачь — потерял, не радуйся — нашел. Мы потеряли и не оглянулись, куда урядника выкинуло, от нас далеко — нам и любо. Обрадовались ли там, где нашли, об этом до нас вести не дошли.

Мы сутки не спали, во все глаза глядели.

Видели разны всяки страны, видели разных народов. У всякого народа своя жизнь. Над всякими народами свой царь либо король сидит и над народом всячески изгиляется, измывается. Народным хлебом цари-короли объедаются, на народну силу опираются да той же силой народной народ гнетут. А чтобы народ в разум не пришел, чтобы своих истязателей умными и сильными почитал, цари-короли полицейских откармливают и на народ науськивают. Разномастных попов развели, попы звоном-гомопом ум отбивают.

Тетка Бутеня пойло свиньям месила и не стерпела, в одного царя злого, обжористого шваркнула всем корытом и с пойлом.

Корыто вдребезги, и царь вдребезги.

Сбежались царьски прихвостни и разобрать не могут, которо царь, которо свинска еда?

Други бабы не отстатчицы, с приговором: хорошо дело не опозднано, давай в королей, царей палить всем худым, даже таким, о чем громким словом и не говорят.

Учены собирали все, что в царей попадало, обсуждали и в книгу писали: из чего небо состоит. Нашу Уйму за небесну твердь посчитали. Те учены про небо всяки небылицы плели и настоящей сути небесной не знали.

С той самой поры наша деревня понимающей стала. И начальство полицейско-поповско нам нипочем и ни к чему стало. От урядника мы избавились, а Сиволдая просто без внимания оставили.

Перепилиха с попадьей во все стороны глядели, а ругаться не переставали. Попадья ругалась-крутилась, подолом пыль подняла — силилась всем попадьям чужестранным пыль в нос пустить.

Перепилиха заверещала голосом пронзительным, на целом месте дыру вертеть стала. Мелкой крошеной землей да крупной руганью отборной царских, королевских чиновников здорово обсыпала.

Пропилила Перепилиха сквозну дыру. Обе ругательницы зараз и провалились.

Это было в остатнем пути земельного поворота. Перепилиха и попадья упали в наш город, в рынок, в саму середину.

В рынке тесно стало. Торговки удивились, устрашились, замолчали. До этого разу молчаливых торговок мы не видывали. Котора торговка язык остановить не могла, та руками рот захлопнула.

Прилетны гостьи, как говорильны газеты, вперебой стали рассказывать, каки страны, каких народов видели, где во что одеваются, где что едят. А потом, как путевы, заговорили про царей-королей. Рассказали, какой они силой держатся. И коли народ за ум возьмется,

вместях соединится, то всех живодеров-обдиралов в один счет с себя стряхнет.

Рыночны полицейски от страху присели, у них ноги отнялись, языки прилипли. Их испугала темна длинна туча. Из тучи мелкий песок падал, прошла она в сторону Уймы.

В то само время, как суткам быть, Уйма на свое место села. И потеперя на том месте. Можете проверить — сходить поглядеть.

Мы полдничать сели, к тому череду поспели.

По дороге пыль поднялась — больше да шире, больше да ближе. До деревни пыль докатилась — это чиновники из городу после Перепилихиной да попадьевой трескотни прибежали, бумагами машут, печатями стращают, требуют штраф, налог, а и сами не знают, за что про что.

Мы уж понимали, что чиновники только мундиром да пуговицами страшны. Мы всей деревней на них гаркнули. Чиновники подобрали мундиришки, бумагами прикрылись, печатями припечатались, мигом улепетнули.

В городу губернатору докладывали:

— Деревня Уйма сбунтовалась! Ни за что ни про что денег платить не хочет, на нас, чиновников, непочтительно гаркнула, кабы мы не припечатались — из нас дух бы вылетел! Ваше губернаторство, можете проверить — от Уймы до городу наши следы остались.

Губернатор свежих чиновников собрал, полицейских согнал, к нам в коляске припылил. Из коляски не вылезат, за кучера-полицейского держится, сам трепещется и петухом кричит:

— Бунтовщики, деньги несите, налоги двойны платите, деньги соберу, арестовывать начну!

Вытащил я штормовой ветрище. Мужики помогли раздернуть. Раздернули да дернули! Ветер штормовой так рванул губернатора с коляской, с чиновниками, с полицейскими — как их и век не бывало!

Опосля того начальство научилось около нас на цыпочках ходить, тихо говорить.

Да мы ихны тихи подходы хорошо знали.

Штормовы ветры у нас наготове были — и пригодились.

ИЗ-ЗА БЛОХИ

В наших местах болота больши, топки, а ягодны. За болотами ягод больше того, и грибов там! Кабы дорога проезжа была — возами возили бы.

Одна болотина верст на пятьдесят будет. По болотине досточки настелены концом на конец, досточка на досточку. На эти досточки ступать надо с опаской, а я, чтобы других опередить да по ту сторону болота первому быть, безо всякой бережности скочил на перву досточку.

Как доска-то выгалила! Да не одна, а все пятьдесят верст вызнялись стойком над болотиной-трясиной.

Что тут делать?

Тонуть в болоте нет охоты, полез вверх, избоченился на манер крюка и иду.

Вылез наверх. Вот просторно! И видать ясно, не в пример ясне, чем внизу на земле.

Смотрю — мой дом стоит, как на ладошке видать. А вниз пятьдесят верст, да по земле пять.

Да, дом стоит. На крыльце кот сидит дремлет, у кота на носу блоха.

До чего явственно все видно!

Сидит блоха и левой лапой в носу ковырят, а правой бок почесыват. Меня зло взяло, я блохе пальцем погрозил, чтобы сон коту не сбивала. А блоха подмигнула да ухмыльнулась, дескать, достань. Вот не знал, что блохи подмигивать и ухмыляться умеют.

Тут кот чихнул.

Блоха стукнулась теменем об крыльцо, чувствий лишилась. Наскочили блохи, больну унесли.

А пока я охал да руками махал, доски-то раскачались, да шибко порато.

«Ахти,— думаю,— из-за блохи в болоте топнуть обидно». А уцепиться не за что.

Мимо туча шла и близко над головой, близко а рукой не достать.

Схватил веревку — у меня завсегда веревка про запас,— петлю сделал да на тучу накинул. Притянул к себе. На тучу уселся и поехал. Мягко сидеть, хорошо!

Туча до деревни дошла, над деревней пошла.

Мне слезать пора. Ехал мимо бани, а у самой бани черемуха росла. Свободным концом веревки за черемуху зацепил. Подтянулся. Тучу на веревке держу. Один край тучи в котел смял на горячу воду, другой край — в кадку для холодной воды, окачиваться, а остатну тучу отпустил с благодарением, за доставку к дому.

Туча хорошо обхожденье понимат. Далеко не пошла, над моим огородом раскинулась и пала теплым дождичком.

ЛЕТНО ПИВО

Ну, и урожай был на моем огороде! Столько назрело да выросло, что из огорода выперло. Которо в поле, то ничего, а одна репина на дорогу выбоченилась — ни проехать ни пройти.

Дак мы всей деревней два дня в репе ход прорубали. Кто сколько вырубит, столько и домой везет. Старательно рубили. Дорогу вырубили в репе таку, что два воза с сеном в ряд ехали.

А капуста выросла така, что я одним листом дом от дождя закрывал. Учены всяки приезжали, мне дип-

лом посулили. У меня и рама для него готова — как пошлют, так вставлю.

На том же огороде, из которого репа выперла на дорогу, хмель вырос-вызнялся. Да какой! Кажну хмелеву ягоду охапкой домой перли. А котора хмелева ягода больша, ту катили с «Дубинушкой»!

Стали пиво варить с новоурожайным хмелем. Пиво сварено, бродит.

А поп у нас был, Сиволдаем мы его звали: отец Сиволдай да отец Сиволдай. Настояще имя позабыли, подходяще и это было.

Терпежа нет у Сиволдая дождать, ковды пиво вы бродит.

— Я,— говорит,— братия, для пива готов, значит, и пиво для меня готово!

Нам что. Брюхо не наше — пей. Назудился Сиволдай пива. Вот в ём пиво-то и забродило, заурчало. Сиволдая горой разнесло.

Мы с диву только пятимся — долго ли до греха!

А Сиволдай на месте нораскачался, да и заподы мался, да и полетел. И вопит:

— Людие, киньте веревку, а то далеко улечу!

А мы от удивленья рты разинули и закрыть забыли. Куды тут веревка.

Сиволдая отнесло в надполье. Поп летит и переку выркивается через голову. Потом объяснил, что это оп земны поклоны клал. Видно, большого лишку выпил поп — его как прорвало!

Дак хошь верь, хошь не верь — через семь деревень радугой!

Воротился Сиволдай без вредимости. Упал на кучу сена, свежекошено было.

Теперича летать нипочем. Примус разведут, приладятся и летят. А в старо время только наша деревня летала.

В больши праздники, в гулянки мы лётно пиво особливо варили.

Как которы пьяны забуянят — сейчас мы этого пива лётного чашку али ковш поднесем.

— Выпей-ко, сватушко!

Пьяной что понимат? Вылакат — его и выздынет над деревней. За ногу веревку привяжем, чтобы далеко не улетел, да прицепим к огороду али к мельнице. Спервоначалу в одно место привязывали, дак пьяны-то драку учиняли в небе. Ну, за веревку их живым манером растаскивали жоны; своих мужиков кажна к своему дому на веревке, как змеек бумажной на бечевке, волокут. Мужики пьяны в небе руками машут, жон колотить хотят, а жоны с земли мужиков отругивают во всю охотку. Мужики протрезвятся в вольном воздухе скоро, как раз к тому времени, как бабы ругаться устанут. Тут жоны веревки укоротят, ну мужья и дома.

САХАРНА РЕДЬКА

Заболели у меня зубы от редьки. И то сказать — редька больно сахарна выросла в то̀ лето. Уж мы и принялись ее ись.

Ели редьку кусками,
редьку ломтями,
редьку с солью,
редьку голью,
редьку с квасом,
редьку с маслом,
редьку мочену,
редьку сушену,
редьку с хлебом,
редьку с кашей,
редьку с блинами,
редьку терту,

редьку маком,
редьку так!
Из редьки кисель варили,
с редькой чай пили.

Вот приехала к нам городска кума Рукавичка, она привередлива была, важничала: чаю не пила, только кофей, и первы восемнадцать чашек без сахару! А как редьку попробовала, дак и первы восемнадцать, и вторы восемнадцать, и дальше — все с редькой.

Я не оговариваю, пускай ее пьет в полну сытость, этим хозяев славит.

А я до того навалился на сахарну редьку, что от сладкого зубы заболели, и так заболели, что свету невзвидел!

По людскому совету на стену лез, вызнялся до второго этажа, в горнице по полу катался. Не помогло.

Побежал к железной дороге на станцию. Поезд отходить собирался. Я за второй вагон с конца веревку привязал, а другой конец прицепил к зубу больному. Хотел привязаться к последнему вагону, да там кондухтор стоял.

Поезд все свистки проделал и пошел. И я пошел.

Поезд шибче, я — бегом. Поезд полным ходом. Я упал, за землю ухватился.

И знаешь что?

Два вагона оторвало!

«Ох,— думаю,— оштрафуют, да еще засудят». В старото время нашему брату хошь прав, хошь неправ — плати.

Я разбежался, в вагоны толконулся да так поддал, что вагоны догонили-таки поезд, и у той самой станции, где им отцепляться надобно.

Покеда бегал, вагоны толкал, зубна боль у меня из ума выпала, зубы болеть перестали.

Домой воротился, а кума Рукавичка с женой все еще кофей с редькой пьют.

Держал на уме спросить: «Кольку чашку, кумушка, пьешь да куды в тебя лезет?» А язык в другу сторону оборотился, я и выговорил:

— Я от конпании не отстатчик, наливай-ко, жона, и мне.

БЕЛУХА

Сидел я у моря, ждал белуху. Она быть не сулилась, да я и ждал не в гости, а ради корысти. Белуху мы на сало промышлям.

Да ты, гостюшко, не думай, что я рыбу белугу дожидался,— нет, другу белуху, котора зверь и с рыбиной и не в родстве. Может стать, через каку-нибудь куму-канбалу и в свойстве.

Так вот сижу, жду. По моим догадкам, пора быть белухину ходу. Меня товарищи-артель караулить послали. Как заподымаются белы спины, я должон артели знать дать.

Без дела сидеть нельзя. Это городски жители бывалошны без дела много сиживали, время мимо рук пропускали, а потом столько же на оханье тратили. «Ах, да как это мы недосмотрели, время мимо носу, мимо глазу пропустили. Да кабы знатье, кабы ум в пору!»

Я сидел, два дела делал: на море глядел, белуху ждал да гарпун налаживал.

Берег высокой, море глубоко; чтобы гарпун в воду не опустить, я веревку круг себя обвязал и работаю глазами и руками.

Море взбелилось!

Белуха пришла, играт, белы спины выставлят, хвостами фигурныма вертит.

Я в становище шапкой помахал, товарищам знать дал. Гарпуном в белушьего вожака запустил и попал!

Рванулся белуший вожак и так рывком сорвал меня с высокого берега в глубоку воду. Я в воду угрузнул мало не до дна. Кабы море в этом месте было мельче верст на пять, я мог бы о каку-нибудь подводность головой стукнуться.

Все белушье стадо поворотило в море, в голоменье — в открыто место, значит, от берега дальше.

Все выскакивают, спины над водой выгибают, мне то же надо делать. Люби не люби — чаще взглядывай, плыви не плыви — чаще над водой выскакивай!

Я плыву, я выскакиваю да над водой спину выгинаю.

Все белы, я один черный. Я нижно белье с себя стащил, поверх верхней одежи натянул. Тут-то и я по виду взаправдашной белухой стал: то над водой спиной выстану, то ноги скручу и бахилами как хвостом вывертываю. Со стороны поглядеть — у меня от белух никакого отлику нет, ничем не разнился, только весом меньше, белухи пудов на семьдесят, а я своего весу.

Пока я белушьи фасоны выделывал, мы уж много дали захватили, берег краешком чуть темнел.

Иностранны промышленники на своих судах досмотрели белуху, а меня не признали; кабы признали меня — подальше бы увернулись. Иностранцы в наших местах безо всякого дозволенья промысел вели. Они вороваты да увертливы.

Иностранцы погнались за белухами да за мной. Я в воде булькаю и раздумываю: настигнут, в спину гарпун влепят.

Я кинул в вожака запасной гарпун да двумя веревками от гарпунов на мелко место правлю. Мы-то, белушье стадо, проскочили через мель, а иностранцы с полного разбегу на мели застопорились.

Я вожжи натянул и к дому повернул. Тут туман растянулся по морю и толсто лег на воду.

Чайки в тумане летят, крыльями шевелят, от чаячьих крыл узорочье осталось в густоте туманной. Те узоры я в память взял, нашим бабам, девкам обсказал.

И по сю пору наши вышивки да кружева всем на удивленье!

Я ногами выкинул и на тумане «мыслете»[1] написал. Так «мыслете» и полетело к нашему становищу.

Я дальше ногами писать принялся и отписал товарищам:

«Други, гоню стадо белух, не стреляйте, сетями ловите, чтобы мне поврежденья не сделать».

Мы с промыслом управились. Туман ушел. А иностранцы перед нами па мели сидят.

Мы море раскачали!

Рубахами, шапками махали-махали. Море сморщилось, и волна пошла, и валы поднялись, и белы гребешки побежали, вода стенкой поднялась и смыла иностранны суда, как слизнула с мели.

КИСЛЫ ШТИ

Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями — это квас такой бутылошный, ты, нods, и не слыхивал про квас такой. Скоро и званья не останется от этого названья.

В пашей Уйме кислы шти были первеющи, и такой крепости, что пробки, как пули, выскакивали из бутылок.

Я вот охотник и на белку с кислымя штями завсегда хожу. Приослаблю пробку, белку высмотрю и палю. И шкурка не рвана, очень ладно выходит.

Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу —

[1] Название буквы «м», первая буква имени Малина.

волки обступили. Глазищами сверлят, зубищами щелкают по-страшному.

А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.

Ну, я пробки пообслабил да кислыми штями в волков — да по мордам, да по глазам!

Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. Вот они закружились, визгом взялись, всяко сображенье потеряли.

Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город. На рынке продал живьем для зверинца.

А один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил, нашел бутылку кислых штей — это я обронил. Хватил волк бутылку зубами, а пробка вырвалась да в волка! Кислы шти в волка!

И так его зарядило, и так волком выпалило из лесу, что его в город бросило!

А тут на углу Буяновой у трахтира у «Золотого якоря» — такой большой трактир был — истуканствовал городовой полицейской, он пасть открыл — орал на проходящих.

Волк со всего маху городовому в пасть!

Летел волк вперед хвостом. Так ведь и застрял в пасти. Да оттуда и лает на проходящих жителев, за карманы хватат, всяко добро отымат. Городовой чужо добро подбират, в будку к себе сваливат.

Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на жителев.

* * *

Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не пересказать.

Да вот хоша бы и птицы.

День был светлый, теплый, сидел я около дома, с со-

седом хорошой разговор говорил, собрался соседа кислыми штями угостить. Кислы шти посогрелись, пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты.

Тут вороны не проворонили, налетели кислы шти пить.

Гляжу — ястреб. И норовит каку ни на есть ворону сцапать.

«Ах, ты,— думаю,— полицейска ты грабительска птица, не дам тебе ворон изобижать. Ворона — она птица обстоятельна, около дому приборку делат».

Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. Ну, известно, наповал.

Это что. А вот орел налетел. Высоко стал над деревней и высматриват. И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь загнала три коровы да две телки и сама доить стала.

Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.

Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и стрелил кислыми штями в орла.

Гвоздем-то орла проткнуло.

Орел в остатнем лете вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами, и с бабой. На те же сваи угодил, малость скособочил.

Думашь, вру? Подем, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в одну сторону кривовата.

* * *

А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.

Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, давай ему того и другого. И штей кислых бочонок. Жонки бочонок порастрясли да в тарантас под чиновника и сунули. Чиновник на бочонок плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?

Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась!

Чиновника выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.

Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной закрыло. Хорошо, что половину,— другá пол-Уймы нас откопала. Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.

По реке что твой ледоход. На пять ден всяко движенье пароходно остановилось.

А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что пырять силы не было, так по верху воды и плавала. Мы рыбу голыми руками ловили.

А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком ходить стали. Мы и их голыми руками имали.

А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от жиру занемогли. Мы и их голыми руками ловили.

И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и вовсе нет.

И были бы мы первеющими богатеями, да мы-то ловили имали голыми руками, а чиновники нас грабили в перчатках.

ИЗ БОЛОТА ВЫСТРЕЛИЛСЯ

Пошел я на охоту.

Пошел на новы места. У нас нехоженых мест непочатый край, за болотами, за топями нетоптаного места по сю пору много живет.

Охота дело заманчиво: и манит, и зовет, и ведет Стал уставать, перестал шагать остановился и заоседал на месте. Оглянулся, а я в трясину вперся. Стих, чтобы далеко не угрузнуть.

Вытащил телефонную трубку да к приятелю медведю позвонил:

— Мишенька, выручай!

Медведь на ответ время тратить не стал, к краю трясины прибежал, головой повертел и лапу вытянул. Дело понятно: велит веревку на лапу накинуть, он тогда вытащит.

Веревка у меня завсегда с собой. Петлю сделал, размахнулся и накинул на медвежью лапу.

Я веревкой размахнулся, пошевелился и глубже в болото провалился. Медведь тянет, тянет, а меня и с места стронуть не может.

Решил я выстрелиться из болотной трясины. Ружье у меня было не тако, как у всех, а особенно, вытяжно. Еже ли по деревне иду или дома держу, то ствол как и у всех такой же длины, а в нужну минуту его тянуть можно. Я вытянул ствол на весь запас — сажени две с аршином да приклад аршин пять. Зарядил, а дуло сверху крепко заткнул, чтобы пуля одна не улетела, чтобы меня в болоте тонуть не оставила. Выпалил.

К-а-а-к дернуло!

Меня из болота выстрелило! Да не одного, а вместях с медведем. Я медведя отвязать позабыл. Один конец веревки петлей на медведевой лапе, а другой круг меня охвачен.

Взвились мы с приятелем мишенькой стрельным лётом. А гуси, утки крылами хлещут, а дела не понимают и не сторонятся.

Я стрельно лечу, значит, куда хочу, туда и целю, туда ружьем и правлю. И без промаху. Я в гусей, я в уток и на длинно ружье наловил, нацепил ровно сто, от руки до конца ствола вся сотня уместилась.

Ружье отяготело, пуля лететь устала. В город упали. пуля в ружье, птицы на ружье, я на прикладе и медведь на веревке добавочным грузом.

Угодили к самой транвайной остановке.

В пуле лёту еще много, она себя в ружье подбрасыват. Ружье подскакиват. Птицы гогочут, крылами хлопают Медведь поуркиват, себя проверят: все ли места живы?

У городских жителей в старо время ум был отбит, они боялись всего, чего не понимали:

— Ах,— кричат,— какой страх! Тут, наверно, нечиста сила дела делат!

Кабы ум был — глаз бы руками не захлапывали и поняли бы, в чем дело обстоит.

Разбежались чины и чиновники. Попов из скрытных мест вытащили, велели нечисту силу прогонить.

Попы завопили, кадилами замахали. У попов от страху ноги гнутся, глотки перехватило. Поповско вопенье до медведя и до птиц дошло. А кадильного маханья медведь не стерпел да тако запел, что от попов след простыл, один дух тяжелый остался.

«Ну, думаю, пора домой, а то оглядятся — всю охоту отберут, медведя-нриятеля изобидят, меня оштрафовать могут — дико дело не хитро».

Вагон транвайной подошел. Народ увидел медведя да кучу птиц, крылами на ружье машущих, с криком во все стороны и без оглядки разбежались.

Вагон — не лошадь, медведя не боится, на колесах спо коен, окнами не косится. Мы — медведь, птицы, я — в вагон сели. Я колокольчиком забрякал, медведь песню закрякал.

Поехали. Остановок не признавам, домой торопимся.

Полицейски от страху в будки спрятались, а чинов ники в бумаги зарылись, как настоящи канцелярски крысы.

Были в городу охотники, веселый народ. Они страхов многих не принимали и на этот раз глаза не прятали, медведя в вагоне углядели и засобирались на охоту Торопились за медведем, пока далеко не уехал.

Хоша охотники без страху, а для пущей храбрости

взяли с собой водки по четвертной на рыло да пива по две дюжины добавочно. В вагон засели, пробки вытряхнули и принялись всяк за свой запас. Из горлышков в горла забулькало звонче транвайного колокольчика!

Охотничий вагон к кажному кабаку приворачивал — так уж приучен, у каждого трахтира остановку делал.

Мы с медведем катили прямиком и до места много раньше доехали. Транвай до нашей деревни не до краю доходит. Остановка верстов за шесть.

Выгрузились из вагона. Я птиц кучей склал, медведя сторожем оставил. Сам пошел за подводой.

Пока это я ходил, Карьку запрягал да к месту воротился, а тут ново происшествие.

Приехали охотники. Языками лыка не вяжут, ногами мыслете пишут, руками буди мельничныма размахами машут. Ружья наставили и палят во все стороны. Кабы небо было пониже — все бы продырявили.

Устали охотники, на землю кто сел, кто пал. Подняться не могут. У охотников ноги от рук отбились!

Увидал медведь, что народ не обидной, а только себя перегрузили — стал охотников в охапку, в обнимку брать, как малых робят, и в вагон укладывать. Уложит, руки, ноги поправит, ружье рядом приладит и кажному в руки гуся либо утку положит. А которой охотник потолще, того по пузу погладит, как бы говорит:

— Ишь ты, не медведь, а тоже!

У меня птиц еще полсотни осталось — мне хватит.

Медведя до лесу подвез, ему лапу потряс за хорошу канпанью.

Охотники обратно ехали-тряслись, в память пришли. И стали рассказывать, как их медведь обиходил да приголубливал, да как по птице на брата дал.

Попы не стерпели, сердито запели:

— Это все сила нечиста наделала,

— Гусей и уток не ешьте, а нам отдайте!

— Мы покадим, тогда сами съедим!

Охотникам поповски страхи лишни были:

— Мы той нечистой силы бережемся, котора криком пугат да птицу отымат!

МОРОЖЕНЫ ВОЛКИ

На что волки вредны животны, а коли к разу при дутся, то и волки в пользу живут.

Дело вышло из-за медведя.

По осени я медведя заприметил.

Я по лесу бродил, а зверь спать собирался. Я при таился за деревом, притаился со всей неприметностью и посматривал.

Медведь на задни лапы выстал, запотягивался, вовсе как наш брат мужик, когда на печку али на полати ладится. Мишка и спину, и бока чешет и зеват во всю пасточку: ох-ох-охо! Залез в берлогу, ход хворостиной заклал.

Кто не знат, ни в жизнь не сдогадается.

Я свои приметины поставил и оставил медведя про запас.

Зимой я пошел проведать, тут ли мой запас медвежий?

Иду себе, барыши пезаработанны считаю.

Вдруг волки! И много волков.

Волки окружили. Я до того не замечал холоду, и было-то всего градусов сорок с малым, а тут сразу озяб.

Волки зубами пощелкивают. Мороз крепчать стал, до ста градусов скочил. На морозе все себя легче чувствуют, на морозе да при волках я себя очень легко чуял. Подскочил аршин на двадцать пять, за ветку ухватился. Дерево потрескиват на холоду, а мороз еще крепчат. По носу слышу — градусов на двести!

Волки кругом дерева сидят да зубами пощелкивают, подвывают, меня поджидают, когда свалюсь.

Сутки провисел на дереве. И вот зло меня взяло на волков, в горячность меня бросило.

Я разгорячился! Да так разгорячился, что бок ожгло! Хватил рукой, а в кармане у меня бутылка с водой была, так вода от моей горячности вскипела.

Я бутылку вытащил, горячего выпил, ну, тут-то я житель, с горячей водой полдела висеть.

На вторы сутки волки замерзли, сидят с разинутыми пастями. Я горячу воду допил и любешенько на землю спустился.

Двух волков шапкой надел, десяток на себя навесил заместо шубы, остатных волков хвостами связал, к дому приволок. Склал костром под окошком.

И только намерился в избу идти — слышу колокольчик тренькат да шаркунки брякают.

Исправник едет!

Увидал исправник волков и заорал дико (с нашим братом мужиком исправник по-человечески не разговаривал):

— Что это,— кричит,— за поленница?

Я объяснил исправнику:

— Так и так, как есть это волки морожены,— и добавил:— Теперь я на волков не с ружьем, а с морозом охочусь.

Исправник моих слов и в рассуждение не берет, волков за хвосты хватат, в сани кидат и счет ведет по-своему:

В счет подати.
В счет налогу.
В счет подушных.
В счет подворных.
В счет дымовых.
В счет кормовых.
В счет того, сколько с кого.

Это для начальства.
Это для меня.
Это для того-другого.
Это для пятого-десятого.
А это про запас!

И только за последнего волка три копейки выкинул. Волков-то полсотни было.

Куда пойдешь — кому скажешь?

Исправников-волков и мороз ие брал.

В городу исправник пошел лисий хвост подвешивать.

И к губернатору, к полицмейстеру, к архиерею и к другим, кто поважней его — исправника.

Исправник поклоны отвешиват, ножки сгибат и говорит с ужимкой и самым сахарным голосом:

— Пожалте мороженого волка под ноги заместо чучела.

Ну, губернатор, полицмейстер, архиерей и други прочи сидят, важничают — ноги на волков поставили. А волки в теплом месте отогрелись, отошли и ожили. Да начальство за ноги! Вот начальство взвилось. Видимость важну потеряло и пустилось вскачь и наубег!

Мы без губернатора, без полицмейстера да без архиерея с полгода жили — отдышались малость.

СВОИМ ЖАРОМ БАНЮ ГРЕЮ

Исправник уехал, волков увез. А через него я пуще разгорячился.

В избу вошел, а от меня жар валит. Жопа и говорит:

— Лезь-ко, старик, в печку, давно не топлена.

Я в печку забрался и живо нагрел. Жона хлебы испекла, шанег напекла, обед сварила, чай заварила и все одним махом.

Меня в холодну горницу толкнула. Горница с осени не топлена была. От моего жару горница разом теплой стала. Старуха из-за моей горячности ко мне подступиться не может, плеснула на меня водой, чтобы остынул, а от меня пар пошел, а жару не убыло.

Поволокла меня баба в баню. На полок сунула и давай водой поддавать.

От меня жар! От меня пар!

Жопа хвощется-парится, моется-обливается. Я дождался, когда голову намылит, глаза мылом улепит, из бани выскочил, домой бежать, а меня уж дожидались, моего согласия не спросили, в другую баню потащили. И так по всей Уйме я своим жаром бани нагрел. Нет, думаю, пока народ парится, я дома спрячусь – поостыну

МОЕЙ ГОРЯЧНОСТЬЮ СТАРУШОНКИ НАГРЕЛИСЬ

На улице мужики меня одолели, на ходу об меня прикуривали, всю спину цигарками притыкали.

Домой притащился — думал отдохнуть — да где тут!

Про горячность мою вся Уйма узнала, через бани слава пошла.

И со всей-то Уймы старушонки пришлепались.

У которой поясницу ломит, у которой спина ноет али ноги болят, обстали меня старухи и вопят:

— Малинушка, ягодиночка! Погрей нас!

Ну, я вспомнил молоду ухватку, да не то вышло. Как каку старуху за какой бок али место хвачу, то место и обожгу.

Уселись круг меня старушонки сморщенны, скрюченны, кряхтят, а тоже – басятся.

И будто мы в молодость играм: старухи взамуж даются, а я сижу жонихом разборчивым. Кошка села супротив меня, зажмурилась, мурлыкат от тепла.

Моей горячностью старушонки живо нагрелись, выпрямились, заулыбались, по избе козырем пошли. А новы и в пляс, да с песней.

Ты, гостюшко, слушатель мой, поди сам знашь: на тиятрах старухи чуть не столетки и по сю пору песни поют молодыми голосами да пляшут-выскакивают чище молодых. Это с той поры еще не перевелось.

Дак вот — старухи по избе павами поплыли и заприговаривали:

— Ты, Малинушка, горячись побольше, горячись подольше. Мы будем к тебе греться ходить!

Моя баба из бани пришла, на старух поглядела и не стерпела:

— Неча на чужу кучу глаза пучить. Своих мужиков горячите да грейтесь!

ЛЕДЯНА КОЛОКОЛЬНЯ

Хватила моя баба отнимки, которыми от печки с шестка горячи чугуны сымат.

Ты отнимки-то знашь ли? Таки толсты да широки, из тряпья шиты, ими горячи чугуны прихватывают, чтобы руки не ожечь. Дак вот с отнимками меня ухватила — да в огород, в сугроб снежный и сунула, да и сказала:

— Поостынь-ка тут, а то к тебе, к горячему, подступу нет. Я из-за твоей горячности не то вдова, не то мужняя жона,— сама не знаю!

Сижу в снегу а кругом затаяло, с огороду снег сошел, и пошло круг меня всяко огородно дело!

Не сажено, не сеяно — зазеленело зелено. Вырос лук репчатой, трава стрельчата, а я посередке — как цвет сижу.

От меня пар идет. Пар идет и замерзат, и все выше

да выше. И вызнялась надо мной выше дома, выше леса ледяна прозрачна светелка-теплица.

Надергал я луку зеленого. Вышел из светелки ледяной. Лук ем да любуюсь на то, что над огородом нагородил, любуюсь на то, что сморозил.

Бежит поп Сиволдай. Увидал ледяну светлицу и принялся приговаривать:

— Вот ладна кака колокольня! С этакой колокольни звонить начать — далеко будет слыхать! Народ придет, мне доход принесет.

Жалко мне стало свое сооружение портить, я и говорю попу Сиволдаю:

— На эту колокольню колокола не вызнять — развалится вся видимость.

Сиволдай свое говорит, треском уши оглушат:

— Я без колокола языком звонить умею. Сам знашь: сколькой год не только старикам, а и молодым ум забиваю!

Вскарабкался-таки поп Сиволдай на ледяну колокольню. Попадью да просвирню с собой затащил. Обе они мастерицы языками звонить.

Как только попадья да просвирня на ледяно верхотурье уселись, в ту же минуту в ругань взялись. Ругались без сердитости, а потому, что молчком сидеть не умеют, а другого разговору, окромя ругани, у них нет.

Увидел дьячок, смекнул, что дело доходно с высокой колокольни звонить, и стал проситься:

— Нате-ко меня!

Попадья с просвирней ругань бросили и кричат:

— Прибавляйся, для балаболу годен!

Гляжу — и дьячка живым манером на ледяной верх вызняли. Поп Сиволдай для начала руками махнул, ногой топнул. И тут-то вся ледяна топкость треснула и рассыпалась.

Я на поповску жадность еще пуще разгорячился! От

моей горячности кругом оттепель пошла, снег смяк. Поп с попадьей, дьячок с просвирней в снегу покатились, снегом обленились, под угором на реке у самой проруби большими комьями остановились. Ну, их откопали, чтобы за них не отвечать.

Жалко ледяну светлицу-колокольню, а хорошо то, что поп остался без доходу, а народ без расходу.

Поп Сиволдай, как его раскопали, кричать стал:

— К архиерею пойду управу искать на Малину!

Попадья едва уняла:

— Ох, отец Сиволдай, как бы Малина еще чего не сморозил. До другой зимы не оттаять.

ЛЕДЯНОЙ ПОТОЛОК НАД ДЕРЕВНЕЙ

Обернулся я на огород, а там расти перестало. Только лук один и успел вытянуться. Моя баба да соседки уж луковницу варят, пироги с луком пекут и кашу луком замешивают. Окромя луку, па огороде никакой другой съедобности не выросло.

Я на попов заново разгорячился, и до самого крайнего жару.

Оттепель больше взялась, и до самой околицы. А за околицей мороз трещит градусов на двести с прибавкой. Округ деревни мой жар да мороз столкнулись, талой воздух мерзнуть стал — сперва около земли, а потом и выше. И надо всей-то Уймой ледяным куполом смерзлось. На манер потолку. И така ли теплынь под куполом сделалась. Снег — и тот холодить перестал.

Говорят — улицу не натопишь. А я вот натопил! Потолок над Уймой блестит-высвечиват, хорошим людям дорогу в потемни показыват, а худым глаза слепит да нашу деревню прячет.

Я, как завижу чиновников, полицейских али попов,

пуще загорячусь. У нас под ледяным потолком тепла больше становится. Мы всю зиму прожили и печек не топили. Я согревал!

Печки нагрею, бани натоплю. И по огородам пойду. В каком огороде приведется присесть, там и зарастет, зазеленеет, зацветет.

Всю зиму в светле да в тепле жили.

Начальство Уйму потеряло. Объявленье сделало: «Убежала деревня Уйма. Особа примета: живет в ней Малина. Надобно ту Уйму отыскать да штраф с нее сыскать!»

Вот и ищут, вот и рыщут. Нам скрозь ледяну стену все видно.

Коли хороший человек идет али едет, мы ледяну воротину отворим и в гости на спутье покличем. Коли кто нам нелюб, тому в глаза свет слепительной пущам.

Теперь-то я поостыл. Да вот ден пять назад доктор ко мне привернул. Меня промерял — жар проверял. Сказал, что и посейчас во мне жару сто два градуса.

НАЛИМ МАЛИНЫЧ

Было это давно, в старопрежно время. Я в те поры не видал еще, каки парады живут.

По зиме праздник был. На Соборной площади парад устроили. Солдатов нагнали, пушки привезли, народ сбежался.

Я пришел поглядеть.

От толкотни отошел к угору, сел к забору, призадумался. Пушки в мою сторону поворочены. Я сижу себе спокойно, знаю — на холосту заряжены.

Как из пушек грохнули! Меня как подхватило, выкинуло! Через забор, через угор, через пристань, через два парохода, что у пристани во льду стояли! Покрутило да как об лед ногами! (Хорошо, что не головой). Я

лед пробил и до самого дна пошел. Потемень в воде. Свету, что из проруби, да скрозь лед чуточку сосвечиват.

Ко дну иду и вижу – рыба всяка спит. Рыбы множество. Чем глубже, тем рыба крупне.

На самом дне я на матерущего налима наскочил. Спал налим крепкой спячкой. Разбудился налим и спросонок — к проруби. Я на налима верхом скочил, в прорубь выскочил, на лед налима вытащил. На морозном солнышке наскоро пообсох, рыбину под мышку — и прямиком на Соборну площадь.

И подходящий покупатель оказался. Протопоп идет из собора. И не просто идет, а передвигает себя. Ножки ставит мерно, будто шагам счет ведет. Что шаг, то пятак, через дорогу — гривенник. Сапожками скрипит шелковой одежой шуршит.

Я подумал: «Вот покупатель такой, какой надо».

Зашел протопопу спереду и чинный поклон отвесил.

Увидал протопоп налима, остановился и проговорил:

— Ах, сколь подходяще для меня налим на уху, печенка на пашкет. Неси рыбину за мной!

Протопоп опять ногами шевелить стал. Ногам скорости малость прибавил, ему охота скоре к налимьей ухе. Дома мне за налима рупь серебряной дал, велел протопопихе налима в кладовку снести.

Налим в окошечко выскользнул и ко мне. Я опять к протопопу. Протопоп обрадел.

— Кабы еще таку налимину, в полный мой аппетит будет!

Опять рупь дал, опять протопопиха в кладовку вынесла. Налим тем же ходом в окошечко да и опять ко мне.

Взял я налима на цепочку и повел, как собачку, налим хвостом отталкиватся, припрыгиват — бежит.

На транвай не пустили — кондукторша требовала бумагу с печатью, что налим не рыба, а охотничья собака.

Мы и пешком до дому доставились.

Дома в собачью конуру я поставил стару квашню с водой и налима туда пустил. На калитку налепил записку: «Остерегайтесь цепного налима».

Чаю напился, сел к окну покрасоваться, личико ру ченькой подпер и придумал нового сторожа звать «Налим Малиныч».

ПИСЬМО МОРДОБИТНО

Вот я о словах писаных рассуждаю. Напишут их, они и сидят на бумаге, будто неживы. Кто как прочитат. Один промычит, другой проорет, а как написано, громко али шепотом, и не знают.

Я парнем пошел из дому работу искать. Жил в Архангельском городе, в немецкой слободе, у заводчика одного на побегушках.

Прискучила мне эта работа. Стал расчет просить. Заводчику деньги платить — нож острый. Заводчик заставил меня разов десять ходить, свои заработанны клянчить. Всего меня измотал заводчик и напоследок тако сказал:

Молод ты за работу деньги получать, у меня и больши мужики получают половину заработка и то не на всяк раз

Я заводчику письмо написал.

Сижу в каморке и пишу. Слово напишу да руками придержу, чтобы на бумаге обсиделось одним концом Которо слово не успею прихватить, то с бумаги палкой летит. Я только увертываюсь. Горячи слова завсегда торопыги.

Из соседней горницы уж кричали:

— Малина, не колоти так по стенам, у нас все валится и штукатурка с потолка падат.

А я размахался, ругаюсь, пишу, руками накрепко

слова прихватываю — один конец на бумагу леплю, а другой – для действия. Ну, написал. Склал в конверт мордобитно письмо, на почту снес.

Вот и принесли мое письмо к заводчику. Я из-за двери посматриваю.

Заводчик только что отобедал, сел в теплу мебель креслой прозывается. В такой мебели хорошо сидеть, да выставать из нее трудно.

Ладно. Вот заводчик угнездился, опрокинул себя на спинку, икнул во все удовольствие и письмо развернул. Стал читать. Како слово глазом поднажмет, то слово скочит с бумаги одним концом и заводчику по носу, по уху, а то и по зубам! Заводчик пз теплой мебели выбраться не может, письмо читат, от боли, от злости орет. А письмо не бросат читать. Слова — всяко в свой черед – хлещут!

За все мои трудовы я ублаготворил заводчика до очуменности.

Губернатор приехал. Губернатор в карты проигрался и приехал за взяткой.

Заводчику и с места сдвинуть себя нет силы, так его мое письмо отколотило. Заводчик кое-как обсказал, что во како письмо получил непочтительно, и кажет мое письмо.

Губернатор напыжился, для важного вида ноги растопырил, глазищами в письмо уперся читат.

Слово прочитат, а слово губернатору по носу!

Ох, рассвирепел губернатор!

А все читат, а слова все бьют и все по губернаторскому носу.

К концу письма нос губернаторский пухнуть стал и распух шире морды. Губернатор ничего не видит, окромя потолку. Стал голову нагибать, нагибал-нагибал, да и стал на четвереньки. Ни дать ни взять — наш Трезорка.

Под губернатора два стула подставили. На один гу

бернатор коленками стал, на другой руками уперся и еще схоже с Трезоркой стал, только у Трезорки личность умне.

Губернатор из-под носу урчит·

— Водки давайте!

Голос как из-за печки. Принесли водки, а носом рот закрыло. Губернатор через трубочку водки напился и шумит из-под носу:

— Расстрелять, сослать, арестовать, под суд отдать!

Орет приказы без череду.

Взятку губернатор не позабыл взял. В коляску на четвереньках угромоздился, его половиками прикрыли, чтобы народ не видал, на смех не поднял.

Заводчик губернатора выпроводил, а сам в хохотвпокаточку, любо, что попало не одному ему.

Письму ход дали.

Вот тут я в полном удовольствии был!

Дело в суд. Разбирать стали. Я сидел посторонним народом любопытствующим. Судья главный — старикашка был, стал читать письмо — ему и двух слов хватило. Письмо другому судье отсунул:

— Читай, я уж сыт.

Второй судья пяток слов выдержал и безо всякого разговору третьему судье кинул. У третьего судьи зубы болели, пестрым платком завязаны, над головой концы торчат. Стал третий судья читать, его по больным зубам хлестким словом щелконуло. Зубы болеть перестали, он и заговорил скоро-скоро, забарабанил:

Оправдать, оправдать! На водку дать, на чай дать, на калачи дать! И еще награду дать!

Я ведь чуть-чуть не крикнул:

— Мне, мне! Это я писал!

Одначе догадался смолчать. Суд писанье мое читат За старо, за ново получат, а с кого взыскать, кого за письмо судить — не знат, до подписи не дочитались. Су-

дейских много набежало, и всем попало — кто сколько выдержал слов. До конца ни один не дочитал.

Дали письмо читать сторожу, а он неграмотный — темный человек, небитым и остался.

Письмо в Питер послали всяким петербургским начальникам читать. Этим меня очень уважили. Ведь мое мордобитно письмо не то что простым чинушам — самим министерам на рассуждение представили. И по их министеровским личностям отхлестало оно за весь рабочий народ!

Чиновники хорошему делу ходу не давали. Подумай сам, како важно изобретение прихлопнули!

А я еще придумал. Написал большу бумагу, больше столешницы. Сверху простыми буквами вывел:

«Читать только господам...»

Дальше выворотны слова пошли. Утресь раным-рано, ишшо городовые пьяных добивали да деньги отбирали,— я бумагу повесил у присутственных мест, стал к уголку, будто делом занят, и жду.

Вот время пришло, чиновники пошли, видят: «Читать только господам»,— глаза в бумагу вперят и читать станут, а оттудова их как двинет! А много ли чиновникам надобно было? С ног валятся и на службу раком ползут.

А которы тоже додумались: саблишки выташшили и машут.

Да коли не вырубить топором написанного пером, то уж саблишкой куды тут размахивать! Позвали пожарну команду и водой смыли писанье мое и подпись мою. Так и не вызнали, кто писал, кто писаньем чиновников приколотил.

Потом говорили, что в Петербурге до подписи тоже не дочитали и письмо мое за городом всенародно расстреляли.

ДЕВКИ В НЕБЕ ПЛЯШУТ

Перед самой японской войной придумали наши девки да парни гулянку в небе устроить.

Вот вызнялись девки в гал. Все разнаряженны в штофниках, в парчовых коротеньках, в золотых, жемчужных повязках на головах, ленты да шелковы шали трепещутся, наотмашь летят.

Все наряды растопырились, девки расшеперились.

В синем небе как цветы зацвели!

За девками парни о землю каблуками пристукнули и тоже вылетели в хоровод.

Гармонисты на земле гармони растягивают, а гармони все трехрядки с колокольчиками, наигрывают ходову плясову.

Девки, парни в небе в пляс!

В небе песни зазвенели!

А моя баба тогда молодой была, плясать мастерица, в алом штофнике с золотыми позументами выше всех выскочила да вприсядку в небесном кругу пошла.

И на земле кто остался, тоже в пляс, тоже с песней. Не отступали, ногами по-хорошему кренделя выделывали, колена всяки выкидывали.

И разом остановка произошла!

Урядник прискакал с объявлением войны японской!

Распушился урядник!

— По какому,— кричит,— полному праву в небе пляску устроили? Есть ли у вас на то начальственно разрешение?

Перевел дух да пуще заорал:

— Может, это вы военны секреты сверху высматриваете!

Ну, мы урядника ублаготворили досыта. Лётного пива в его утробу ведро вылили.

Жаден был урядник до всякого угощенья, упрашивать не надо, только подноси.

Урядника расперло, вызняло и невесть куда унесло. Нам искать было не под нужду. Рады, что не стало.

МОБИЛИЗАЦИЯ

Было это в японску войну.

Мобилизацию у нас объявили. Парней всех наметили на войну гнать. Бабы заохали, девки пуще того. У каждой, почитай, девки свой парень есть. Уж како тако дерево, что птицы не садятся, кака така девка, что за ней парни не вьются?

Одначе девки вскорости охать перестали, с ухмылкой запохаживали.

«Что,— думаю,— за втора така?»

А у каждой девки на рубахе, на юбке по подолу мужички понавышиваны.

Старухи не раз унимали:

— Ой, девоньки, бесперечь быть войне, естолько мужичков в сподольях вышито!

Девки по деревне пошли, подолами трясли, вышитых стрясли, а взабольшны парни у подолов остались.

Вышиты робята выстроились как заправдашны рекруты.

Девки в котомки шапок наклали.

От начальства приказ был дан: запасны шапки брать, чтобы было чем японцев закидывать, ружей, мол, на всех не хватит.

Начальники прискакали, загрохотали на всю деревню:

— И так не так и эдак не так! Давайте лошадей, новобранцев в город везти!

Была у нас старушонка, по прозвищу Сухариха. Вот она всех новобранцев собрала, веревкой связала, на спину

закинула да в город двинулась. В вышитых — сам понимашь тяжесть не сколь велика.

Увидали начальники, что одна старушонка таку силу показала, думают· «А ежели весь народ свою силу покажет?»

Начальники скочили на коней и прочь от нас

А мы тому и рады.

Наутро за мной пришли.

Моя-то баба не выторопилась вышивку сделать да заместо меня в солдатчину сдать.

Явился, куда указано.

Доктор спрашиват:

— Здоров?

— Никак нет, болен!

— Чем болен?

Помалу ись не могу!

Повели меня на кухню. Почали кормить. Съел два ушата штей, два ушата каши, пять ковриг хлеба, выпил ушат квасу

Сыт? спрашивает дохтур.

Никак нет, ваше дохтурово, только в еду вхожу дозвольте сызнова начать.

Что ты, кричит дохтур, лопнутие живота произойти могит!

— Не сумлевайтесь, говорю, лишь бы в брюхо попало, а там оно само знат, что куда направить.

Начальство совет держало промеж себя и написало постановление·

«Но неграмотности и невежеству родителей с детства приучен много ись, и для армии будет обременителен»

Отпустили меня.

Пошел по городу брюхо протрясать. Иду мимо нарядного дома. Окошки полы стоят.

Вижу – начальство пировать наладилось, рюмки налиты, рюмками стукнулись и ко рту поднесли.

Я потянул в себя воздух — все вино мне в рот.

Начальство заоглядывалось.

«Ну, – думаю,— коли меня заприметят, то не ви дать мне своей бабы».

Чтобы от греха убраться, хотел почтой доставиться, да почта долго идет. Я на телеграфну проволоку скочил, телеграммой домой покатил. Оно скоро по телеграфу ехать, да на стаканчиках подбрасыват, весь зад отшиб.

Мало время прошло, стретил меня поп Сиволдай.

— Малина, да ты жив? А народ говорит, что живот свой положил за кашу!

Я без ухмылки отвечаю:

Выхолонул я, живу наново!

Вот и ладно, я тебя в город справлю, в солдаты сдам, скажу, чтобы тебе живот туже стягивали, ись будешь в меру.

— Ну что ж, справь да за руку веревку привяжи, будто дезелтира приведешь, награду получишь.

Сиволдай привязал веревку к моей руке, другой конец к своей руке.

Я на лыжи стал, припустил ходу по дороге. Поп вприпрыжку, поп вскачь!

Поп живуч, в городу отдышался.

По уговору сдал меня не как Малину, а как Вишню,— это за то, что я дозволил вскачь бежать, а не волоком тащил.

Отправили меня на Дальний Восток.

Как ись охота придет, открою двери теплушки, понюхаю, где вареным-печеным пахнет. С той стороны воздух в себя потяну, из офицерских вагонов да из ресторации все съедобно ко мне летит. Мы с товарищами двери задвинем и едим.

Приехали.

Пошел я по вагонам провианту искать.

Какой вагон ни открою — всё иконки да душеполь-

зительны книжки и заместо провианту, и заместо снаря дов боевых.

Почали бой. Японцы в нас снарядами да бонбами, снарядами да бонбами! А мы в них иконками, иконками!

Кабы японцы нашу веру понимали, их бы всех укокошило. Да у их своя вера, и наша пальба дело постороннe.

Взялись за нас японцы, ну, куда короб, куда ми лостыня!

Стоял я на карауле у склада вещевого. У ворот столб был с надписью: «Посторонним вход воспрещен» Как трахнет снаряд! Да прямо в склад, все начисто снесло! Остался столб с надписью: «Вход посторонним воспрещен», а кругом чисто поле, узнай тут, в каку сторону вход воспрещен.

Одначе стою. Дали мне медаль за храбрость да с банным поездом домой отправили.

НАПОЛЕОН

Это что за война? Вот ковды я с Наполеоном воевал!

С Наполеоном?

Ну, с Наполеоном. Да я его тихим манером вы пер из Москвы. Наполеона-то я сразу не признал. Ви жу — идет по Москве офицеришко плюгавенькой, иззяб весь. Я его зазвал в извощичий трактир. Угощаю сбит нем с калачами, музыку заказал. Орган валами заворочал и затрещал: «Не белы-то снеги».

Слышу, кто-то кричит:

— Гляди, робята! Малина с Наполеонтием прия тельствует.

Оглядел я своего гостя и впрямь Наполеон. Генералы евонны одевались с большим блеском, а он тихо-

нечко одет, только глазами сверлит. Звал меня к себе отгащивать. Говорю я ему, Наполеону-то:

— Куды в чужу избу зовешь? Я к тебе в Париж твой приду. А теперь, ваше Наполеонство, видишь кулак? Присмотрись хорошенько, чтобы впредки не налететь. Это из города Архангельского, из деревни Уймы. Не заставь размахивать. Одно, конечно, скажу: «Марш из Москвы, да без оглядки».

Понял Наполеон, что Малина не шутит,— ушел. Мне для памяти табакерку подарил. Вся золота, с каменьем. Сичас покажу. Стой, дай спомню, куда я ее запропастил. Не то на повети, не то на полатях? Вспомнил — покажу, там и надпись есть: «На уважительну память Малине от Наполеона».

— Малина, да ты подумай, что говоришь, при Наполеоне тебя и на свете не было.

— Подумай? Да коли подумать, то я и при татарах жил, при самом Мамае.

МАМАЙ

Видишь ножик, которым лучину щиплют? Я его из Мамаевой шашки сам перековал.

Эх, был у меня бубен из Мамаевой кожи. Совсем особенный: как в него заколотишь, так и травы, и хлеба бегом в рост пустятся.

Коли погода тепла да солнышко, да утречком в Мамаев бубен колотить станешь, вот тут начнут расти и хлеба, и травы. К полдню поспеют — и жни, молоти, вечером хлеб свежой пеки. А с утра заново выращивай, вечером опять новый хлеб. И так каждый теплый день. Только анбары набивай да кому надо уделяй.

А ты говоришь — не жил в то время! Лучше слушай, что расскажу, сам поймешь: не видавши не придумать.

Мамай, известно дело, басурманин был, и жоп у него

цельно стадо было, все жоны как бы двоюродны, а настояща одна Мамаиха. Мне она по ндраву пришлась: пела больно хорошо. Бывало, лежим это на полатях, особенны по моему указанию в Мамаихином шатру были построены. Лежим это, семечки щелкам и песню затянем. Запели жалостну, протяжну. Смотрю, а собака Кудя... Вишь, имя запомнил, а ты не веришь! Так сидит эта собака Кудя и горько плачет от жалостной песни, лапами слезы утират. Мы с Мамаихой передохнули, развеселу завели. Кудя встряхнулась и плясом пошла.

Птицы мимо летели, остановились, сердечны, к нашему пенью прибавились голосами. Даже Мамайка — это я Мамая так звал — сказывал не однажды:

— И молодец ты, Малина, песни тянуть. Я вот никакой силе не покорюсь, а песням твоим покорен стал.

Надо тебе про Мамая сказать, какой он был, чтобы убедить тебя, что в ту пору я жил. Я тако скажу, что ни в каких книгах не написано, только у меня в памяти.

К примеру, вид Мамаев: толстой-претолстой, живот на подпорках, а подпорки на колесиках. Мамай ногами брыкнет, подпорки на колесиках покатят, будто лисапед особого манеру.

Ну кто тебе скажет про Мамаевы штаны? А таки были штаны, что одной штаниной две деревни закрыть можно было.

Вот раз утресь увидал я с полатей: идет на Мамая флот турецкой, Мамай всполошился. Я ему и говорю:

— Стой, Мамай, пужаться! С турками я справлюсь.

Вытащил я пароходишко, с собой был прихвачен на всякой случай. И пароходишко немудрящий — буксиришко, что лес по Двине тащит.

Ну, ладно. Пары развел, колесом кручу, из трубы дым пустил с огнем. Да как засвищу, да на турок!

Турки от страху паруса переставили и домой без оглядки!

Я ход сбавил и тихо по морю еду с Мамаихой. Рыбы в переполох взялись. Они, известно, тварь бессловесна, а нашли-таки говорящу рыбу Выстала говоряща рыба и спрашиват:

По какому такому полному праву ты, Малина, пароход пустил, когда пароходы еще не придуманы?

Я объяснил честь честью, что из нашего уемского времени с собой прихватил. Успокоил, что вскорости домой ухожу.

Прискучило мне Мамая терпеть. Я ему и говорю:

— Давай, кто кого перечихнет. Я буду чихать первый.

Согласился Мамай, а на чих он здоров был. Как-то гроза собралась. Тучи заготовку сделали. Большущи, темнящи. Вот сейчас катавасию начнут.

А Мамай как понатужился, да полно брюхо духу набрал, да как чихнет! Тучи котора куды. И про гром и про молнию позабыли.

Ну, ладно, наладился я чихать, а Мамай с ордой собрался в одно место. Я чихнул в обе ноздри земля треснула. Мамай со всем войском провалился.

Мне на пустом месте что сидеть. Одна головня в печке тухнет, а две в поле шают.

Пароходишко завел да прямиком до Уймы. Городов в тогдашне время мало было, а коли деревня попадалась, подбрасывало малость.

Остался у меня на память платок Мамаихин, из его сколько рубах я износил, а жона моя сколько сарафанов истрепала.

Да ты, гостюшко, домой не торопись, погости. Моя баба и тебе рубаху сошьет из Мамаихинова платка. Носи да встряхивай — и стирать не надо, и износу не будет, и мне верить будешь.

МИНИСТЕР НА ОХОТЕ

Пошел я на охоту, еды всякой взял на две недели. По дороге присел да в одну выть все и съел. Проверил боевы припасы — а всего один заряд в ружье. Про одно помнил — про еду, а про друго позабыл — про стрельбу.

Ну, как мне, первостатейному охотнику, домой ни с чем идтить?

Пережадал в лесу до утра.

Утром глухари токовать почали, сидят это рядком. Я приладился — да стрелил.

И знашь, сколько? Пятнадцать глухарей да двух зайцев одной пулей! Да еще пуля дальше летела да в медведя: он к малиннику пробирался.

Медведя, однако, не убило, он с испугу присел и медвежью болезнь не успел проделать — чувства потерял! Я его хворостинками прикрыл, стало похоже на муравейник и вроде берлоги.

Глухарей да зайцев в город свез, на рынке продал.

А в город министер приехал. Охота ему на медведя сделать охоту.

Одиновы министер уже охотился. Сидел министер в вагоне, у окошка за стенку прятался. Медведя к вагону приволокли, стреножили, намордник надели. Ружье на подпорку приладили. Министер-охотник за шнурочек из вагона дернул да со страху на пол повалился. А потом сымался с медведем убитым. В городу евонну карточку видел.

Министер вроде человека был и пудов на двенадцать. Как раз для салотопенного завода.

Вот этому «медвежатнику» я медведя и посватал. Обсказал, что уже убит и лежит в лесу.

Ну, всех фотографов и с рынку и из городу согнали, неустрашимость министеровску сымать.

К медведю прикатили на тройках. Министер в троеш-

ный тарантас один едва вперся. Вот вытащился «охотник»! А наши мужики чуть бородами не подавились — рот затыкали, чтобы хохотом не треснуть.

Взгромоздился министер на медведя и кричит:

— Сымайте!

А я медведя скипидаром мазнул по тому самому месту. Медведь как взревет, да как скочит!

Министера в муравьину кучу головой ткнуло. Со страху у министера медвежья болезнь приключилась. Тут и мы, мужики, и фотографы городски, и прихвостни министеровски — все впокаточку от хохоту, и ведь цельны сутки так перевертывались: чуть передохнем, да как взглянем — и сызнова впокаточку!

А медведь от скипидару да от реву министерсково, да от нашего хохоту так перепугался, что долго наш край стороной обходил.

А на карточках тако снято, что и сказывать не стану.

Только с той поры как рукой сняло: перестали министеры к нам на охоту приезжать.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРВОПУТОК

Еще скажу, как я в первой раз поехал по железной дороге.

Было это в девяносто... В том самом году, в кольком старосты Онисима жона пятерню принесла, и все парней, и имя им дала всем на одну букву — на «мы» Митрий, Миколай, Микифор, Микита да Митрофан. Опосля, как выросли, разом пять в солдаты пошли. А опосля солдатчины староста Онисим пять свадеб одним похмельем справил.

Так вот в том самом году строили железну дорогу из Архангельска в Вологду.

А наши места, сам знашь,— топь да болото с провалами. Это теперь обсушили да засыпали.

Анжеперы в городу в трахтирах — вдребезги да без просыпу. В те поры анженеры мастера были свои карманы набивать да пить, ну, не все таки были, да другим-то мало почету было.

По болотной трясине-то видимость дороги сладили и паровоз пустили. Машинист был мой кум, взял меня с собой.

Сам знашь, всякому интересно по железному первопутку прокатить.

Свистнули — поехали!

Только паровоз на болотну топь ступил, под нами заоседало, да тпрукнуло, да над головами булькнуло!

И летим это мы скрозь болота и скрозь всю землю. Кругом тьма земельна, из паровоза искорки сосвечивают да тухнут в потемни земельной, да верстовы столбы мимо проскакивают.

И летим это мы скрозь болота и скрозь всю землю. Спереди свет замельтешил.

«Что тако?» — думаем.

А там Америка! Мы землю-то паровозным разбегом наскрозь проткнули да и выперли в самой главной город американской. А там на нас уже расчет какой-то заимели. Выстроили ворота для нас со флагами да со всякими прибасами. И надписано на воротах:

«Милости просим гостей из Архангельского, от вас к нам ближе, чем до Вологды».

Музыка зажариват.

Гляжу, а у ворот американски полицейски. Я по своим знал, что это тако. По сегодень спина да бока чешутся.

Слова никому не сказал. Выскочил, стрелку перевернул, да тем же манером, скорым ходом, в обратный путь.

А железну дорогу, с которой провалились, по которой ехали, веревкой прицепил к паровозу, чтобы аме

риканцы к нам непоказанным путем не повадились ездить.

Выскочили на болото. Угодили на кочку.

Паровоз размахался — бежать ему надобно. Мы его живым манером на дыбы подняли. А на двух-то задних недалеко уйдешь, коли с малолетства приучен на четырех бегать.

Строительно начальство нам по ведру водки в награду дало, а себе по три взяло.

Паровоз вылез — весь землей улеплен, живого места нет. Да что паровоз! Мы-то сами так землей обтяпались, что на вид стали как черны идолы.

* * *

Счистил я с себя землю, в горшок склал для памяти о скрозьземном путешествии. В землю лимонно зернышко сунул. Пусть, думаю, земля не даром стоит.

А зернышко расти-порасти да деревцом выросло. Цвести взялось, пахло густо.

Я кажинной день запах лимонной обдирал, в туесье складывал. По деревне раздавал на квас. В городу лимонной дух продавал на конфетну фабрику и в Москву отправлял,— выписывали. Вагоны к самому моему дому подходили, я из окошка лимонной дух лопатой нагружал да на вагонах адрес надписывал: разны фабрики выписывали-то.

Года три цвел цветок лимонной. Подумай на милость, сколь долго один цветок держаться может!

Прошло время — поспел лимон, да всего один.

Стал я чай пить с лимоном. Лимон не рву. Ведро поставлю, сок выжму, и пьем с чаем всей семьей.

Так вот и пили бы до самой сей поры. И всего неделя кака прошла, как моя баба лимон-то сорвала.

У жониной троюродной тетки, у сватьи племянницына подруженька взамуж выдавалась, а до лимонов она страсть охоча. Дак моя-то жона безо всякого спросу

у меня сорвала лимон: она как присвоя свадебничала, на приносном прянике и поднесла невесте.

Видел, в горнице у окошка стоит лимонно деревцо? Оно само и есть. Давай сделаем уговор такой: как зацветет мой лимон, я тебе, гостюшко, лимонного запаху ушат пошлю.

ДРОВА

Памяти вот мало стало

Друго и нужно дело, а из головы выраниваю.

Да вот поехал я за дровами в лес. Верст эдак пятнадцать проехал, хватился — а топора-то нет!

Хоть порожняком домой ворочайся,— веревка одна.

Ну, старый конь борозды не портит. А я-то что? И без топора не обойдусь?

Лес сухостойник был. Я выбрал лесину, кинул веревку на вершину да дернул рывком. Выдернул лесину Пока лесина падала, сухи ветки обломились.

Кучу надергал, на сани навалил, сказал Карьку:

Вези к старухе да ворочайся, а я здесь подзаготовлю!

Карька головой мотнул и пошел.

А я лег поудобней. Лежу да на лесины веревку накидываю. И так, лежа да отдыхаючи, много лесу навалил.

Карька до потемни возил С последним возом и я домой пришел.

Баба то моя с ног сбилась, дрова сваливала да укладывала. А я выотдыхался.

Баба захлопотала. и самовар скорей согрела, и еду на стол поставила. Меня, как гостя, угощат за то, что много дров заготовил.

С того разу я за дровами завсегда без топора езжу Только табаком запасаюсь, без табаку день валяться трудно.

УГОЛЬНО ЖЕЛЕЗО

Запонадобилось моей бабе уголье, и чтобы не покупно, а своежжёно. Я было попытал словом оттолкнуться.

Не робята у нас, хватит с нас, робята будут сами добудут.

Баба взъерошилась. На всяки лады, на всяки манеры меня изругала.

— Семеро на лавке, пять на печи, ему все еще мало!

Я от шума, от жониной ругани подальше. Из избы выбрался, сел, подумал о работе и разом устал. Отдохнул, про работу вспомнил — опять устал. Так до полдён от несделанной работы отдыхал.

Время обеденно, жона меня кличет·

— Старик, уголье нажег?

— Нажгу ужо!

За подходящим материалом надо в лес идти, а мне неохота. Я осиннику наломал — тут под рукой рос, кучу наклал, зажег. Горит, чернет, а не краснет. Како тако дело? Водой плеснул — созвенело, в руки взял — железо. Я из осинника всяких штук хозяйственных настругал самоварну трубу, и кочергу, и вьюшки, заслонки, и чугунки, и ведра, лопату, ухваты. Ну всяку полезность обжег жоне принес, думал будет сыта. А жона обновки угольно-железны заперебирала, языком залопотала

Поди скоре, старик, нажги, принеси щипцы, грабли да вилы, железной поднос, на крышу узорный обнос сковородки, листы да гвоздей не забудь, новы скобы к избяным и к банным дверям, да флюгарку с трещоткой, обручи на ушат, рукомойник, лоханку, пуговицы к сарафану, пряжки к кафтану. Я отдохну, снова придумывать начну. Иди, жги, поворачивайся!

Я свернулся поскоре, пока баба не надумала чего несуразного. Все по бабьему говоренью нажег, к избе приволок. Все очень железно и очень угольно.

Кабы тещина деревня была на этом берегу, ушел бы, там чаю напился бы, блинов, пирогов, колобов наелся бы. И так всего, о чем подумал, захотел, что придумал мост через реку построить и к теще в гости идти.

Обжег большущу осину со столб ростом. Столб этот в берег вбил, начало мосту сделал. Сел около, соображаю: какой меры, какого вида штуки для моста обжигать?

Анжинер царской налетел на меня, криком пыль поднял.

По какому полному праву зачал мост строить, ковды я, анжинер казенный царской, плана еще не составил и денег на постройку не пропил? Строить перестать, столб убрать!

Я ему в ответ:

Не туго запряжено, можно и вобратно повернуть, а столб дергать мне неохота.

Столб-то хошь и из осины, да железной, его не срубишь, нижний конец в земле корни пустил, его не выдернешь. Бились-бились, отступились.

Весной столб Уйму спас.

Вот как дело было. Вода заподымалась, берег за подмывало. Гляжу — дело опасно. Уйму смоет и на друго место унесет. На новом необсиженном месте ловко ли си деть будет? Я Уйму веревкой обхватил, к столбу прихватил накрепко.

Наша Уйма вся была в одном месте, дома кругом стояли. Из окошек в окошки все было видать, у кого что делают, кто что стряпат, варит. Бывало, кричат через улицу: «Марья, щи кипят, оттащи от огня» Друга кричит: «Дарья, тащи пироги, смотри — пригорят!» Согласно жили. Все у всех на виду.

Водой Уйму подмыло и с места сдернуло!

Веревка деревню удержала, по берегу вытянула. Так и теперь стоит. Не веришь — сходи проверь. Пока с одного конца до другого дойдешь, не раз ись захошь.

С ПРОМЫСЛОМ МИМО ЧИНОВНИКОВ

В старопрежно время над нами, малограмотными, всячески измывались да грабили. К примеру скажу· приходили мы с промысла и чуть к берегу причаливали чиновники да полицейски уж статьи выписывали и сосчитывали, сколько взять:

Приходно.
Проходно.
Причально.
Привально.
Грузово.
Весово.

Это окромя всяких сборов, поборов, налогов да взяток.

И мы свои извороты выдумывали.

Раз акулу добыли. Страшенна, матеруща, увязалась за нами. Акула в море, что щука в реке, что урядник в деревне. Щуку ловим на крючок и акулу на крючок. На щуку крючок с вершок, а на акулу крючище сладили аршин десять, для крепости с якорем запустили.

Акула дожидалась, разом хапнула и попалась!

Сала настригли полнехонек пароход, все трюмы набили и на палубе вровень с трубой навалили. Шкуру акулью за борт пустили.

Налетел шторм. Ревет, шумит, море выворачиват! А мы шкурой от бури загородились, нас и не качат. Едем, чай пьем, песни распевам, как в гостях сидим.

К городу заподходили. Жалко стало промысел в чиновничью ненасытну утробу отдавать.

Мы шкурой акульей пароход накрыли и перевернули кверху килем. Едем, как аварийны, переоболоклись во все нежелобно, староношено. Лица кислы скорчили, видать, что в бурю весь живот потеряли.

Ну, мы-то мы, про нас неча и говорить, а пароход-то,

пароход-то, подумай-косе! Ведь как смыслящий, тоже затих, машину пустил втихомолку.

Нам страховку выдали и вспомоществование посулили. Посулить-то посулили, да не дали, да мы не порато и ждали.

Проехали с промыслом мимо чиновников — само опасно это место было. Пароход перевернули, он и заработал в полный голос, и винтом шум поднял, и засвистел во все завертки!

Сало той акулы страсть како скусно было. Мы из того сала колобы пекли и таки ли сытны колобы, что мы стали впрок наедаться. И так ведь было: колоб съешь — два месяца сыт!

У нас парень один — гармонист Смола — наелся на год разом. И показывался ездил по ярманкам. Сделали ему ящик стеклянный с дырочкой для воздуху.

Смолу смотрели, деньги платили, а он на гармони нажаривал. И все без еды, и ись не просит, и из ящика не просится. Учены всяки наблюдения делали: и как дышит, и как пышет.

Попы Смолу святым хотели сделать и доход обещались пополам делить, да Смола поповского духу стеснялся.

Год попоказывался, полну пазуху денег накопил и устал. Сам посуди, как не устать: глядят да глядят, до кого хошь доведись — устанет.

Мне эти колобы силу давали. Жона стряпат да печет, а я ем да ем. Жона только приговариват:

— Не в частом виданьи еки колобы, да в сытом еданьи. Ешь, ешь, муженек, я сала натоплю, да еще напеку!

Наелся я досыта. И така сила стала у меня, что пошел на железну дорогу вагоны переставлять, работал по составу составов. Вагоны одной рукой подымаю и куды хошь несу. Составы одноминутно составлял.

Раз слышу: губернатор с чиновниками идет и слова выкидыват таки:

— Потому это я ехать хочу, что с кажной версты получу прогоны за двенадцать лошадей, доходно дело мне ездить, еда и проезд готовы.

«Ох, ты,— думаю,— прогоны получит, а деньги с кого? Деньги с нас, с мужиков да с рабочих».

Стал свору губернаторских чиновников считать и в уме держу, что всякому прогоны выплатят.

Слышу пенье-завыванье. Заголосили голоса пронзительны, а за ними толсты зарявкали. Я аж присел и повернулся.

К поезду архиерей идет, его монашки подпирают и визжат скрозь уши. За монашками дьякона-басищи, отворят ротищи, духу наберут, ревом рыгнут — так земля стрясется.

Монашки все кругленьки, да поклонненьки, буди куры-наседки, идут, да клюют, и без устали поют.

Чиновники индюками завыступали перед монашками.

А я все счет веду: архиерею опять за двенадцать лошадей, монашки да дьякона тоже взять не опоздают.

Вот дождал, ковды все в вагон залезли. Хватил тот вагон да в лес, в болото снес с губернатором, с архиереем и со всей ихней сворой.

Сам скоре домой, чаю горячего с белыми калачами напился, и сила пропала. От чаю да от калачей белых человек слабнет. Для того это сделал, чтобы по силе меня не разыскали.

Губернатор да архиерей с сопровожатыми из вагона вылезли, в болоте перемазались, в частом лесу одежу оборвали. До дому добрались в таком виде, что друг на дружку не оглядывались.

В тот раз и за прогонами не поехали.

СВОЯ РАДУГА

Ты спрашивашь, люблю ли я песни?

— Песни? Без песни, коли хошь знать, внутрях у нас потемки. Песней мы свое нутро проветривам, песней мы себя, как ланпой, освещам.

Смолоду я был песенным мастером, стихи плел. Девки в песенны плетенки всяку ягоду собирали.

Песни люблю, рассказы хороши люблю, вранье не терплю! Сам знашь, что ни говорю — верно, да таково, что верней и искать негде.

Раз ввечеру повалился спать на повети и чую: сон и явь из-за меня друг дружке косье мнут. Кому я достанусь? Сон норовит облапить всего, а явь уперлась и пыжится на ноги поставить.

Мне что? Пущай в себе проминаются. Я тихим манером да в сторону, в ту, где девки песни поют.

Мимо песня текла широка, гладка. Как тут устоишь? Сел на песню, и понесло, и вызняло меня в далекой вынос.

Девки петь перестали, по домам разошлись, а меня несет выше и выше. Куды, думаю, меня вынесет? Как домой буду добираться? В небе ни дороги, ни транвая. Долго ли в пустом месте себя потерять. Смотрю, а впереди радуга. Я на радугу скочил, в радугу вцепился, уселся покрепче и поехал вниз.

Еду, не тороплюсь, не в частом быванье ехать в радужном сверканье. Еду, песню пою — это от удовольствия: очень разноцветно вокруг меня. Радугу под собой сгинаю да конец в нашу Уйму правлю, к своему дому да в окошко. И с песней на радуге в избу и вкатился!

Моя баба плакать собралась, черно платье достала, причитанье в уме составлят. Ей соседки насказали:

— Твоего Малину невесть куда унесло, его, поди, и в живности нет, ты уж, поди, вдова!

Как изба-то светом налилась, да как песню мою жона услыхала, разом на обрадованье повернула. Самовар согрела, горячих опекишей на стол выставила.

В тот раз чай пили без ругани. И весь вечер меня жона «светиком» звала.

На улице уже потемень, а у нас в избе светлехонько. Мы и в толк не берем отчего да и не думам. Только я шевельнусь, свет по избе разныма цветами заиграт!

Дело-то просто. Я об радугу натерся. Сам знашь, протерты штаны завсегда хорошо светятся, а тут тер-то об радугу!

Спать пора и нам, и другим.

Свет из наших окошек на всю деревню, все и не спят. Снял рубаху, стащил штаны, в сундук спрятал, темно стало.

В потемки заместо лампы мы рубаху или штаны вешам. И столь приятственный свет, что не только наши уемски, а из дальних деревень стали просить на свадьбы для нарядного освещенья.

Эх, показать сейчас нельзя. Портки на Глинник увезли, а рубаху на Верхно-Ладино. Там свадьбы идут, так над столами мою одежу повесили, как лимонацию. Да ты, гостюшко, впредь гости, на спутье захаживай. Будут портки али рубаха дома — полюбуешься, сколь хорошо своя радуга в дому.

РЫБЫ В РАЖ ВОШЛИ

Весновал я на Мурмане, рыбу в артели ловил. Тралов в ту пору в знати не было, ловили на поддев, ловили ярусами — по рыбе на крючок. Так это мешкотно было, что терпенья не стало глядеть.

А рыбины в воде вперегонки одна за другой: столько рыбы, что вода кипит.

Надумал я ловить на подман. Прицепил на крючок наживку да в воде наживкой мимо рыбьих носов и во-

жу Рыбы в раж вошли, норовят наживку слопать. А я ловчусь, кручу да мимо продергиваю.

Рыбы всяку свою опаску бросили, так их разобрало. И треска, и пикша, и палтусина, и сайда — все заодно. Хвостами по воде бьют, шумят:

— Отдай нам, Малина, наживку, аппетиту нашего не дразни!

Я ногами уперся да приослабил крючок с наживкой. Рыбы кинулись все разом. За крючок одна ухватилась, а друга за ее, а там одна за другу!

Вот тут надо не зевать. Я натужился, чуть живот не оборвал, махнул удилищем да выкинул рыбу из воды. Да с самого с Мурмана перекинул в нашу Уйму!

Рыбу отправил, а как будут знать, чья рыба и откудова?

Я живым манером чайку рыбиной подманил, за лапы да за крылья схватил. К носу бумажку с адресом наценил, а на хвост — записку жопе и отписал:

«Рыбу собирай, соли. Да не скупись — соседям дай. В море рыбы хватит. Я малость отдохну да опять выхвостывать начну».

Об этом у кого хошь спроси, вся деревня знат. А чайка приобыкла и часто у нас гащивала да записочки носила из Уймы на Мурман, а с Мурмана в Уйму, и посылки, если не велики, нашивала, так и звали — Малининска чайка.

* * *

Как домой воротился — на пароходе али в лодке?

На! На пароход!

Его жди сколько ден! Мурмански пароходы ходили одинова в две недели, да шли с заворотами.

А я торопился к горячим шаньгам.

Смастерил ходули, да таки, чтобы по дну моря ша

гать, а самому над морем стоять, и чтобы волной не мочило. Табаку взял пять пудов. Трубку раскурил, дым пустил — и зашагал. С трубкой иттить скорей, и устали меньше.

Потом береговые сказывали, что думали: какой такой новый пароход идет? Над водой одна труба, а дыму за пять больших пароходов. Эдакова парохода еще ни в заведеньи, ни в знати нет!

Вышагиваю себе да дым пущаю. Пристал. А тут иностранец меня настиг. Ну, ухватку ихну иностранскую я знаю: капитан носом в карту либо в кружку с пивом; штурмана на себя любуются или счет ведут, сколько наживут; команда — друг дружку по мордам лупит (это у них заместо приятного разговора — мордобой, и зовут эту приятность «боксой»)

Я остановил ходули, трубку выколотил. Иностранец со мной сравнялся, я на него и ступил да ходулями к мачтам прижался,— оно и неприметно, и еду. Есть захотел. Вижу — капитану мясо зажарили, полкоровы. Я веревкой мясо зацепил и поел. Так вот до городу доехал. Иностранцы смотрят только на выгоду и ни разу наверх не посмотрели.

А от города до Уймы - рукой подать.

САМОВАРОВА СЕМЬЯ

Чайны чашки ручки в бок изогнули, на блюдечках подскакивают, донышками побрякивают и поют:

— Папа скоро закипит,

— Папа скоро закипит!

Чайник, старший из самоваровых робят, пошел по столу чаем засыпаться и широким боком нос отбил молочнику. Молочник заплакал, молоко пролилось.

Самовар закипел, пар пустил, песней забурлил, конфорку надел, ручки растопырил и па стол стал.

Чайник к папе подбежал, чай заварил, на конфорку скочил, крышкой прихлопыват, папе подпеват.

Пошел чайник чаи разливать, а сахарница на пути подвернулась, чайнику рыло отбила.

Когда молочнику нос отбили, его в сторону отодвинули и забыли, будто ничего не случилось. Чайнику рыло разбили — все хлопотами расплескались. Чайнику рыло сделали новое серебряное, по пути и молочнику сделали серебряный нос.

Чай отпили. Самовар кланяться стал, задни ножки подымат, конфоркой киват, этим показыват·

В другой раз гостите,
Чай пить приходите,
А сегодня не обессудьте,
Всё!

Чайны чашки вымылись, вытерлись, в буфете на блюдечках спать повалились.

Чайник вытрясся, вымылся и тоже в буфет спать пошел. А молочник на холод вынесли, ему сказали, что для него вредно спать в буфете — скиснет.

Молочник хотел было в кофейну семью уйти, да вспомнил, что кофейник высоко нос задират, и чашки кофейны маленьки, и разговор кофейный заводят на час, а чайный разговор заводят с утра и до вечера. Остался в своей семье.

Раз тетка Бутеня в гости пришла. Чай уж допивали, самовар поклоны отвешивал, задни ножки подымал, конфоркой кланялся, за конпанию благодарил.

Тетку Бутеню зовут за стол садиться, чаю напиться, горячим согреться.

Бутеня чай пьет помногу, пьет подолгу. Самовару хлопотно: надо доливаться, надо догреваться, и не одиножды. Тетка к столу не подходит и с обидой говорит:

— Благодарю за приглашенье, благодарю за угощенье.

Из пустого самовара не напьешься, у холодного самовара не согреешься.

Самовар со стола скочил, водой долился, подогрелся.

Самовар закипел, на стол сел, недолго пел, опустел и опять долился. А тут новый гость поп Сиволдай. Самовар опять долился, подогрелся, а не хочет для попа песни петь, не хочет громко кипеть. Жару много в самоваре, вода кипит, вода клокочет, разорвать его хочет

Самовар зажмурился, пару не показыват, голосу не подает.

Сиволдаю налили чаю в большу чашку: из малой Сиволдай ни пить, ни выпивать не любит. Сиволдай думат — самовар холодной, взял чашку, рот открыл во всю ширину и чохнул в себя всю чашку разом.

Так ожегся, что ни кричать, ни мычать не может, рот не закрыват, руками размахиват и бегом из дому

Потом узнали: Сиволдай двадцать верст пробежался, отдышался, в других гостях простоквашей и шаньгами вылечился. Попы живучи были.

На радостях, что от попа избавились, чайны чашки на блюдечках приплясывали, чайник по столу кругом пошел, чай разливал, молочник с чайником в паре молоко подливал.

Самовар в тот раз долго кипел, новы песни пел.

ПЛЯШЕТ САМОВАР, ПЛЯШЕТ ПЕЧКА

Согрела моя баба самовар, на стол вызняла, а сама пошла коров доить. Сижу, чаю дожидаюсь. Страсть хочу чаю. Самовар руки в боки, пар пустил до потолку и насвистыват, песню поет:

Топор, рукавицы,
Рукавицы, топор!

Я гдядел-глядел, слушал-слушал да подхватил самовар за ручки, и пошли мы в пляс по избе.

Самовар на цыпочках, самовар на цыпочках. А я всей ногой, а я всей ногой!

Печка в углу напыжилась, сначала на нас и не глядела, да не вытерпела, присела, попыхтела, да и двинулась. Да кругом по избе павой, павой! Мы с самоваром за ней парой, парой. И вприсядку! Самовар на цыпочках, а я всей ногой, а я всей ногой!

Печка пляшет, песню поет:

Я в лесу дрова рубила —
Рукавицы позабыла,
Рукавицы позабыла.

Самовар паром пофыркиват и звонко подсвистыват:

Березова лучина,
Растопка моя!

Мне бы молча плясать, да как утерпишь, ковды печка поет, заслонкой гремит, вьюшками побрякиват. Самовар поет, отдушиной свистит. Я не стерпел да тоже запел:

Эх, рожь не молочена,
Жона не колочена!

Только поспел эти слова выговорить, слышу — в сенях жона подойником гремит и по-своему орет:

Ой, лен не мочен,
Да муж не колочен!

Едва я успел в застолье заскочить, на лавку шлепнуться. Самовар на стол скочил. Печке что! Печка в углу присела, заслонкой прикрылась, посторонком тепло пущат, как так и надо, как и вся тут!

Каково нам с самоваром?

Я едва отдыхиваюсь, у самовара от присядки кон-

форка набок, кран разворотился, из крана течет, по полу течет, на столе мокрехонько!

Вот жона взялась в ругань! На что я к этому приобык, и то в удивленьи был: откуда берет?

Отвернулся я к стене, а под лавкой поблескивают штоф, полуштоф да четвертна. И все с водкой. Поблескивают, мне подмигивают, в конпанию зовут...

Я и ране их слышал, как с самоваром вприсядку плясал. Слышал, что кто-то нриневат да призваниват нашему плясу. Это, значит, скляницы под лавкой в свой черед веселились. Я их туды от жоны спрятал и позабыл.

Ну, я к ним, я к ним и одну бутыль за пазуху, другу за другу, а третью в охапку — и на поветь.

В избе жона ругается-заливается! Наругалась, себя в большу сердитость загнала, к кровати подскочила, головой на подушку шмякнулась, носом в подушку сунулась, а ноги от злости на полу позабыла. И вот носом ругательски высвистыват — спит, а ногами по полу что силы есть стучит. К утру от экова спанья из сил баба выбилась пуще, чем от работы. Подумай сам — чем больше баба спит, тем больше ногами об пол стучит!

Я на повети водку выпил, голову на подушку уложил, всего себя на сене раскинул, ноги в сторону, руки наотмашь. Сплю — от сна отталкиваюсь!

СИЛА МОЕЙ ПЕСНИ ПЛЯСОВОЙ

Сплю это я веселым сном да во сне носом песню высвистываю.

Утресь глаза отворить не успел — слышу топот плясовой, поветь ходуном ходит. Я уж весь проснулся, а носом плясову тяну-выпеваю. Глянул глазами.

На повети пляс! Это под мой песенный храп вся живность завертелась.

Куры кружатся, петух вертится, телка скоком носится, корова ногами перетоптыват, свинья хвостиком помахиват, сама кубарем и впереверты. Розка-собачонка порядок ведет, показыват, кому за кем по роду-племени в круге идти. Розка показыват, ковды вприсядку, ковды вприскок.

Выглянул во двор, а по двору Карька пляшет, гривой трясет, хвост вверх подбрасыват, ногами семенит с переборами. От Карькиной пляски весь двор подскакиват, дом ходуном пошел!

Моя баба сердито спала ту ночь, вся измаялась. Сердитым срывом меня в город срядила, огородно добро на рынок везти.

Стала баба на телегу груз грузить, сама себя не понимат, а сердитой бабе не перечь!

Картошки натаскала возов пять, да брюквы, да репы, да свеклы, да хрену, да редьки, да моркови, да капусты, да гороху стрючками — и все возами.

Я стою, гляжу, умом прикидываю — на сколько это подвод. Хватит ли со всей Уймы коней, ежели всю эту кладь разом везти?

Карька глянул на меня, глазом моргнул — это знак подал, что не я потащу, а он.

Я на телегу скочил, песню запел развеселу. Карька ногой топнул, другой топнул и заприплясывал на все четыре. Телега заподпрыгивала, кладь заподскакивала да вверх, да вверх, да вся и вызнялась над телегой!

Брюква с картошкой, с репой, со свеклой вызнялась стволами, редька с хреном, с морковью — ветками, горохові стрючки — листиками, а капустны кочаны — как цветы на большом дереве!

Вся кладь над телегой, пусту телегу катить натуга не нужна. Карька пляшет, телега скачет, кладь над телегой идет.

Увидали городски жители, что я небывалошны дерева

на рынок везу, и бросились за моим возом. Услыхали, что я пою, мою песню подхватили да всем городом запели. Ох, и громко! Ох, и звонко!

До кого хошь коснись, всем антиресна эка небывальщина.

За Карькой, за мной, за телегой моей, за возом моим до самого рынку народ шел густой толпой, и все песню со мной пели.

На рынке я Карьку остановил. Карька стал, телега стала, кладь моя по корзинам, по кучам склалась и больше чем на полрынка!

Живым манером все распродал. Деньги в карман положил. Тут чиновник один подвернулся, ко мне в карман, как к себе домой, как в свой, и заехал. А в кармане у меня завсегда кот сидит, ковды я в город еду. Кот цапнул чиновника за руку. Чиновник сначала взвыл, а потом выфрунтился, под козырек взял и извинительным голосом гаркнул:

— Прошу прощенья, как есть я не знал, что в вашем кармане сберегательна касса с секретным замком!

Я ответного слова сказать не успел. Поднялся переполох. Я думал, како дело большо. А всего-то полицмейстер на паре прикатил. Он услыхал пенье многоголосо, ковды я без мала со всем городом пел.

— Како тако происшествие? Почему песни поют без моего на то дозволенья?— это полицмейстер кричит.

Полицейский подскочил, рапортует:

— Как есть этого мужичонка лошаденка привезла всякого припасу разом на полрынка, жители увидали и от удивленья, безо всякого позволенья проделали общо пенье!

Полицмейстер ко мне и все криком:

— Может ли твоя лошадь меня везти? Меня пара коней через силу возит, как есть я чин с весом!

Отвечаю:

— Карька увезет, ваше полицейство, только прикажите городовым полицейским на телегу стать да для параду шашки наголо взять кверху.

Полицмейстер просвистал, городовы полицейски сбежались, на телегу установились тесно, шашки вверх подняли. Полицмейстер посередке сел вольготно.

Я песню веселу завел. Карька плясом-топотом взвился. Телегу заподкидывало, полицейски заподскакивали, теснотой держатся. Полицмейстера выкинуло над телегой, на шашки посадило. Его и дальше подкидыват и обратно на шашки усаживат. Шашки хотя и тупы, а штаны полицмейстера в клочье прирвали!

Народ хохочет, народу любо, в ладоши хлопат, мне подпеват, тем Карьке плясать помогат. Всенародно полицмейстера ублажают. Полицмейстеру неохота показать, что попался мужику, он подскакиват с улыбочкой, сам голы места шинелишкой прикрыват. Скоро и шинелишка в клочья.

Полицмейстер около своего дому изловчился, скочил в сторону, к народу передом повернулся, чтобы драного места не видели, и так задом в калитку, задом на крыльцо, задом в дом ускочил.

Полицейски все подскакивают да ура кричат! Я их, очумелых, поперек улицы в пять рядов поставил, чтобы никто мне не мешал домой ехать.

Купцы со всего рынка ко мне пристали.

— Подвези нас на этой лошади, мы тебе по полтине с рыла дадим!

Разным жителям тоже загорелось ехать на моей телеге. Прибежали охотники, их двадцать пять, рыболовы — их двадцать пять, дачников — двадцать пять, гуляющих — двадцать пять, ягодников — двадцать пять, грибников — двадцать пять, провожающих — двадцать пять и купцов — двадцать пять уж на телеге сидят, и всех до Уймы.

Чем телега хуже транвая?

И на телеге можно друг на дружку сажать.

Песню свою завел, поехал. Телегу заподбрасывало, гостей заподкидывало, да ряд над рядом, ряд над рядом.

На телеге только я один. Карьке легко, мне весело.

В Уйму приехал, гостей по домам самоварничать пустил. Жопе деньги за огородно добро высыпал, об сказал, что кот сберег от чиновника.

Моя баба моего кота молоком напоила, мне самовар поставила и светлым словом заговорила.

ЗАЖИГАЛКА

Была у меня зажигалка раздвижна. В обпаковенно время — для простого закуру цигарок, а коли куда порато скоро запонадобится — я колесико у зажигалки на полной ход крутану и еду, как на лисапеде. Ежели по ровному месту али под гору, то ходко идет.

Да что, я на лисапедных гонках перву премию получил!

Мою зажигалку не единова брали на рыбалку. Там зажигалкой огонь разводили, в зажигалке уху варили, чай кипятили, мне свежу рыбу привозили. Сам ел кошек кормил.

Зажигалка у меня как подзорна труба была. Фитиль выдерну, зажигалку переверну и далеко вижу. Раз вот так смотрю на дорогу, а верст за десять от меня обоз с водкой идет, из Архангельского городу водку по деревням в кабаки везут, подвод боле полста. У задней подводы веревки ослабли, и ящик с бутылками на дорогу скатился. Я зажигалку обернул другим концом и прокричал мужикам, чтобы ящик подобрали

Мужики ко мне заехали, четвертную водки завезли. И все бы ладно, зажигалка всем бы на пользу была,

да дело вышло с теткой Бутеней, что в Лявле живет.

Скрозь зажигалку глядеть — все одно как из ружья стрелять: так же навылет и через все видно.

Гляжу я это тихим манером скрозь зажигалку свою и увидал: в деревне Лявле тетка Бутеня спать повалилась. В зажигалку я все ейнны сны вижу.

Тетка Бутеня страсть охоча в гости ходить. Куды ее позовут — она и идет и приговариват:

— Сегодня мы к вам, а завтра нас к вам милости просим.

А коли приведется, что у тетки Бутени гости соберутся, дак она, тетка Бутеня, с поклонами угощат и скорыми словами приговариват:

— Что вы все едите, так не посидите.

Да растяжно добавлят:

— Ку-шай-те, по-жа-луйс-та!

Спит это тетка Бутеня и видит во снах, что в гостях во всем удовольствии сидит.

Перед теткой Бутеней пироги понаставлены: пирог с треской, пирог с палтусиной, пирог с шепталой, пирог с морошкой и всяческо друго печенье и варенье.

Столько наставлено, столько накладено, что и с натугой не съесть.

А хозяйка вьюном вьется круг тетки Бутени.

А тетка Бутеня рассказыват для наведки — она здря слов не бросат,— как ейнны две кумы из гостей домой голоднехоньки пришли, и какой это страм был хозяевам, у которых гостили. Одна кума на Юросе гостила, друга — в Кривом Бору. И будто тетка Бутеня спрашивала у кумушек:

— Почто, желанны, невеселы, почто ноги не плетут, из гостей идучи, головушки не качаются, глазыньки не светят, и личики ваши не улыбчаты? Али нечем угощаться было?

Одна кума и заговорила:

— Всего было много наготовлено и налажено; на стол наставлено. Только ешь. Да угощали без упросу.

Другая кума таку ужимку сделала, так жалостливо заговорила — ажно слезу прошибло:

— Где я была, там тоже всего напасено — на стол принесено, ешь всей деревней — на столе не убудет. И угощали с упросом, да чашку без золота подали. Я и есть и пить не стала.

Хозяйка завертелась, буди ее шилом ткнули, в кладовку сбегала, достала чашку бабкину, всю золоту. Тетку Бутеню угощат с великим упросом.

А тетка Бутеня от удовольствия даже икнула, а сама от стола малость отпятилась и еще рассказала:

— А третья моя кумушка в гостях была — чаем-кофеем и всяким хорошим угощали, а выпить и не показали.

Хозяйка подскочила, руками плеснула:

— Ах, да как это я! Да видано ли дело, чтобы в Малинином рассказе да без малиновой настойки!

Достала хозяйка посудину стеклянну, рюмки налила, тетке Бутепе на подносе поднесла. И хозяйка и гостья заколыхались поклонами. Поклоны все мене и мене, и с самым маленьким, с самым улыбчатым рюм ки ко рту поднесли, пригубить приладились.

Я зажигалку перевернул да и крикнул в само ухо тетке:

— Тетка Бутеня!

От тетки Бутени сон отскочил и с пированьем, и с чашкой золотой, и с рюмкой налитой.

Ты не гляди, что до меня было тридцать пять верст,— тетка Бутеня так меня отделала, что я сколько ден людям на глаза не показывался.

КАК КУПЧИХА ПОСТНИЧАЛА

Уж така ли благочестива, уж такой ли правильной жизни была купчиха, что одно умиленье!

Вот как в масленицу сядет купчиха с утра блины ись. И ест, и ест блины — и со сметаной, с икрой, с семгой, с грибочками, с селедочкой, с мелким луком, с сахаром, с вареньем, разными припеками, ест со вздохами и с выпивкой.

И так это благочестиво ест, что даже страшно. Поест, поест, вздохнет и снова ест.

А как пост настал, ну, тут купчиха постничать стала.

Утром глаза открыла, чай пить захотела, а чаю-то нельзя, потому пост.

В посту не ели ни молочного, ни мясного, а кто строго постился, тот и рыбного не ел. А купчиха постилась изо всех сил: она и чаю не пила, и сахару ни колотого, ни пиленого не ела, ела сахар особенный — постной, вроде конфет.

Дак благочестивая кипяточку с медом выпила пять чашек да с постным сахаром пять, с малиновым соком пять чашек да с вишневым пять, да не подумай, что с настойкой, нет, с соком. И заедала черными сухариками.

Пока кипяточек пила, и завтрак поспел. Съела купчиха капусты соленой тарелочку, редьки тертой тарелочку, грибочков мелких, рыжичков, тарелочку, огурчиков соленых десяточек, запила все квасом белым.

Взамен чаю стала сбитень пить паточный.

Время не стоит, оно к полудню пришло. Обедать пора. Обед постной-постной! На перво жиденька овсянка с луком, грибовница с крупой, лукова похлебка.

На второ грузди жарены, брюква печена, солоники — сочни-сгибни с солью, каша с морковью и шесть других каш разных с вареньем и три киселя: кисель

квасной, кисель гороховый, кисель малиновый. Заела все вареной черникой с изюмом.

От маковников отказалась:

— Нет-нет, маковников ись не стану, хочу, чтобы во весь пост и росинки маковой во рту не было!

После обеда постница кипяточку с клюквой и с яблочной пастилой попила.

А время идет и идет. За послеобеденным кипяточком с клюквой, с пастилой тут и паужна.

Вздохнула купчиха, да ничего не поделать — постничать надо!

Поела гороху моченого с хреном, брусники с толокном, брюквы пареной, тюри мучной, мочеными яблоками с мелкими грушами в квасу заела.

Ежели неблагочестивому человеку, то такого поста не выдержать — лопнет.

А купчиха до самой ужны пьет себе кипяточек с сухими ягодками.

Трудится — постничат!

Вот и ужну подали.

Что за обедом ела, всего и за ужной поела. Да не утерпела и съела рыбки кусочек, лещика фунтов на девять.

Легла купчиха спать, глянула в угол, а там лещ. Глянула в другой, а там лещ!

Глянула к двери — и там лещ! Из-под кровати лещи, кругом лещи. И хвостами помахивают.

Со страху купчиха закричала.

Прибежала кухарка, дала пирога с горохом — полегчало купчихе.

Пришел доктор — просмотрел, прослушал и сказал:

— Первый раз вижу, что до белой горячки объелась.

Дело понятно, доктора образованны и в благочестивых делах ничего не понимают.

СНЕЖНЫ ВЕХИ

Просто дело снег уминать книзу: ногами топчи — и все тут. Я вот кверху снег уминаю, делаю это, ковды снег подходящий да ковды в крайность запонадобится.

Вот дали мне наряд дорогу вешить, значит, вехами обставить. А мне неохота в лес за вехами ехать. Тут снег повалил под стать густо. Ветра не было, снег валил степенно, раздумчиво, без спешности, как на поденщине работал.

Я стал на место, куда веха надобна, растопырился и заподскакивал. Снег сминаться стал над головой, аршин на пятнадцать выстал столб. Я в сторону подался, столб па месте остался.

Я на друго место — и там столб снежный головой намял. И каким часом али минутошно боле я всю дорогу обвешил, столбы лопатой прировнял. Два столба про запас приберег.

Перед самой потеменью солнышко глянуло и так малиново ярко осветило мои столбы-вехи! Я сбоку водой плеснул, свет солнечно-малиновой в столбы и вмерзнул.

Уж ночь настала, темень пала, спать давно пора, а народ все живет, на свет малиновый любуется, по дороге мимо ярких вех себе погуливат.

Старухи набежали девок домой гнать:

— Подите, девки, домой, спать валитесь, утром рано разбудим. Не праздник, всяко, сегодня, не время для гулянки!

А как увидали старухи столбы солнечно-малинового свету, на себя оглянулись. А при малиновом сиянии все старухи как маковы цветы расцвели, и таки ли приятственны сделались.

Старухи сердитость бросили, личики сделали улыбчаты и с гунушками да утушками поплыли по дороге.

Ты знаешь ли, что гунушками у нас зовут? Это ковды губки с маленькой улыбочкой — бантиком.

К старухам старики пристали и песни завели, так и песни звончей слышны, и песни зацвели.

А девки — все как алы розаны!

Это по зимней-то дороге сад пошел! Цветики красны маки да алы розаны. Песни широкими лентами огнистыми, тихими молниями полетели вокруг, сами светят, звенят и летят над полями, над лесами, в саму дальну даль.

Вот и утро стало, свет денной в полную силу взошел. Мои столбы-вехи уже не светят, только сами светятся, со светлым днем не спорятся.

Стало время по домам идтить, за каждодневну работу браться. Все в черед стали и всяк ко мне подходил с благодареньем и поклон отвешивал с почтеньем и за работу мою, и за свет солнечной, что я к ночи припас. Девки и бабы в полном согласье за руки взялись до Уймы и по всей Уйме растянулись.

Вся дорога расцвела!

Проезжи мужики увидали, от удивленья да умиленья шапки сняли. «Ах!» — сказали и так до полдён стояли. После шапки надели набекрень, рукавицы за пояс, рожи руками расправили и за нашими девками вослед.

Мы им поучительно разговор сделали: на чужой каравай рот не разевай.

Проезжи не унимаются:

— А ежели мы сватов зашлем?

— Девок не неволим, на сердце запрету не кладем. А худой жоних хорошему дорогу показыват.

В ту зиму к нам со всех сторон сватьи до сваты наезжали. Всякой деревне лестно было с Уймой породниться. Наши парни тоже не зевали, где хотели выбирали.

Нас с жоной на свадьбы первоочередно звали и самолучшими гостями величали.

Ну, ладно. В то-то перво утро, когда все разошлись по домам да на работу, я запасны столбы к дому прикатил да по переду, по углам и поставил прямь окошек. С вечера, с сумерек и до утрешнего свету у нас во всем доме светлехонько и по всей Уйме свет

Прямь нашего дому народ на гулянку собирался песни пели да пляски вели.

Так и говорили:

— Пойдемте к Малинину дому в малиновом свету гулять!

У меня каждый день гости и вверху и внизу. И свои уемски и городски-наезжи. Моя жопа с ног сбилась: стряпала, пекла, варила, жарила, она по Уйме первой хозяйкой живет.

Слыхал, поди, стару говóрю:

«Худа каша до порогу, хороша до задворья», а моя жона кашу сварит — до заполья идешь, из сыта не вы падешь.

Наши уемски — народ совестливый: раза два мы их угощали, а потом они со своим стали приходить. Вся деревня. Водки не пили. Сидим по-хорошему, разго варивам, песни поем. Случится молчать, то и молчим ласково, с улыбкой.

Девки к моим малиновым столбам изо всех сил вы торапливались. Кака хошь некрасива, во что хошь одета,— как малиновым светом осветит — и с лица кажет распрекрасной и одеждой разнарядна. Да так, что из-под ручки посмотреть!

Говорят: «Куру не накормишь, девку не оденешь, дев кам сколько хошь обнов — все мало».

В ту зиму одели-таки девок малиновым светом! Ма тери сколько денег сберегли, новых нарядов не шили Наши девки нарядне всех богатеек были!

РЕКА У́ЖЕ СТАЛА

В старо время наша река шире была. Против городу верст на полтораста с прибавком. Просторно было и для лодок, карбасов, для купанья и для пароходов места хватало.

Оно все было ладно, да заречным жонкам далеко было с молоком в город ездить.

Задумали жонки тот берег к этому пододвинуть, к городу ближе.

Что ты думашь? Пододвинули!

Мужики отговорить не могли. Дело известно, что бабы захотят, то и сделают.

Вот заречны жонки собрались с вечера. В потемках руками в берег уперлись, ногами от земли отталкиваются, кряхтят, шепотом дубинушку запели:

Давай, жонки, приналяжем,
Мужикам мы не уважим.
Эх, дубинушка, сама пойдет.

Берег-то сшевелился и заподвигался. Бабы не курят, на перекурошну сижанку время не тратят. Берег-то к самому городу дотолкали бы, да согласья бабьего ненадолго хватило.

Перво дело, каждой жонке охота свою деревню ближе к городу поставить, как тут не толконуть соседку, котора свой бок вперед прет? Начали переругиваться по-тихому, а как руганью подхлестнулись, и голосу прибавили.

Лисестровска тетка Задира задом крутонула да в заостровску тетку Расшиву стуконула. Обе разом во весь голос крик подняли. Другим-то как отстать?

И лисестровски, глуховски, заостровски, ладински, кегостровски, глинниковски, и ближнодеревенски, и дальподеревенски в ругань вступились. Друг дружку

стельными коровами обозвали. Ругань руганью, да и толкотня в ход пошла.

Ведь у всех жонок под одежой полагушки с молоком, простокваша в крынках двуручными корзинами, а под фартуками туеса с пареной брюквой. Заречны жонки все до одной с готовым товаром собрались. Думали берег дотолкнуть, да в рынок кажда хотела первой скочить и торговать.

Жонки руганью да потасовкой занялись. Над рекой от ругани визг переполошной да от полагушек брякоток столь громкой, что спящи в городе проснулись. А приезжи сдивовались:

— Совсем особенны и музыка и пенье. Слыхать, что поют ото всего сердца и со всем усердием.

Приезжи особенны записны гранофоны наставили и визжачу ругань и полагушечный стукоток на запись взяли.

Как ободнело, осветило, городски жители долго глаза протирали, долго глазам не верили, говорили:

— Гляньте-ка, что оно тако? Река у́же стала! Завсегда в полтораста верст была, а осталось всего три, и мало где пять. Кто дозволил тот берег чуть не под нос городу поставить?

Кегостровски бабы самы крикливы, неуемны и выперлись ближе всех.

Пока жонки толкались да дрались, все полагушки опрокинули, молоко пролили. Молоко над рекой рекой течет. Простокваша со сметаной в крынках у берега плещется. В тот день городски жители молока нахлебались задарма в кого сколько влезло. Водовозы в бочках молоко по домам развозили заместо воды. Молоко рекой над рекой — и в море, все море взбелело. С той поры и по сю пору наше море Белым и прозыватся.

Начальство хотело тот берег обратно поставить, да приспособиться не смогло. Руками в берег упереться

можно, а ногами не много оттолкнешься. Меня не спросили как. Сам я навязываться не стал.

Тещина деревня ближе стала, мне и ладно.

АПЕЛЬСИН

Дак вот ехал я вечером на маленьком нароходишке Река спокойнёхонька, воду пригладила, с небом в гляделки играт — кто кого переглядит. И я на них загляделся. Еду, гляжу, а сам апельсин чищу и делаю это дело мимодумно.

Вычистил апельсин и бросил в воду, в руках только корка осталась. При солнечной тиши да яркости я и не огорчился. На гладкой воде место заприметил. Потом, как семгу ловить выеду, спутье не спутье, а приверну к апельсинову месту поглядеть, что мой апельсин делат?

Апельсин в рост пошел, знат, что мне надо скоро,— растет-торопится, ветками вымахиват, листиками помахиват. Скоро и над водой размахался большим зеленым деревом и в цвет пустился.

И така ли эта была распрекраспость, как кругом вода, одна вода, сверху небо, посередке апельсиново дерево цветет!

Наш край летом богат светом. Солнце круглосуточно. Апельсины незамедлительно поспели. На длинных ветвях, на зеленых листах как фонарики золоты.

Апельсинов множество, видать, крупны, сочны, да от воды высоко — ни рукой, ни веслом не достанешь, на воду лестницу не поставишь.

Много городских подъезжало, вокруг кружили, только всё безо всякого толку.

Раз буря поднялась, воду вздыбила. Я в лодку скочил карбасов штук пятнадцать с собой прихватил, к апельси новому дереву подъехал. Меня волнами подкидыват, а я апельсины рву. Пятнадцать карбасов нагрузил с большими

верхами, и лодка полнехонька. На самой верхушке один апельсин остался. Пятнадцать карбасов да лодку с апельсинами в деревню пригнал. Вся деревня всю зиму апельсинами сыта была.

Меня раздумье берет, как достать остатный апельсин. В праздник, в тиху погоду подъехал в лодочке к апельсиновому дереву. А около дерева тоже в лодочке франт да франтиха крутятся. Франт весь обтянут-перетянут — тонюсенький, как былиночка. А франтиха растопоршена безо всякой меры, у нее и юбка на обручах. Франтиха выахиват:

— Ах, ах! Как мне хочется апельсина! Ах, ах! Не могу ни быть, ни жить без апельсина.

Франт отвечат:

— Для вас апельсин? Я-с сейчас!

Поднялся обтянутой, тонконогой и, как пружинка, с лодки скочил. Апельсина не достал, на лодку упал, на саму корму. Лодка носом выскочила, франтиху выкинуло. Франтиха над водой перевернулась, на воду юбками с обручами хлопнулась и завертелась, как настояща пловуча животна!

Франт в лодке усиделся, франтихе веревочку бросил и мимо городу на буксире повез.

Франтиха на лице приятность показыват, ручкой помахиват и так громко говорит:

— Теперь ненавижу в лодках ездить, как все, и ах как антиресно по реке самоходом гулять наособицу!

Городски франтихи с места сорвались, им страсть захотелось так же плыть и хорошими словами, сладким голосом на берегу гуляющих дразнить. Франтихи в воду десятками скакать почали.

Народ, который безработный был, много в тот раз заработали — мокрых франтих из воды баграми виволакивали. Смотреть было смешно, как на балаганно представленье.

К апельсиновому дереву воротился, дерево нагнул и апельсин достал.

Дело стало к вечеру, вода стихла, выгладилась, заблестела. Небо в воду смотрится, на себя любуется.

Я стал апельсин чистить без торопливости, с раздумчивостью.

Вычистил апельсин, на себя оглянулся, а у меня только корки в руках. Апельсин я опять мимодумно в воду бросил. Должно, опять впрок положил.

ЧТОБЫ ВСЕГО СЕБЯ НЕ РАЗБУДИТЬ

Вот скажу я тебе, гость разлюбезной, как я дом-от этот ставил. Нарубил это я лесу на дом, а руки размахались, устатка нет,— стал рубить соседу на избу, да брату, да свату, да куму с кумой, да своим, да присвоим. Нарубил лес — вишь, дом слажен что нать.

А как домой лес достать? Лошади худы. И столько лесу возить время много нать.

Вот я уклал лес по дороге до самой деревни, укладывал в один ряд концом на конец. Подождал, ковды спать повалятся наши деревенски, чтобы как грехом не зашибить кого.

Вот уж ночь, все угомонились. Я топором по последнему бревну стуконул что было силы! Бревно выгалило, да не одно, а все на попа стали. На попа стали да перевернулись и сызнова на попа, да вперѐверт, и так до моего дому. У дома склались кучей высоченной.

Посмотрел кругом — все спят. По времени знаю — долго еще не заживут. А моя стара избенка ходуном ходит — это жона моя храп проделыват. Хотел поколотиться, да будить боязно, как бы чем не огрела.

Залез на бревна на верёх и спать повалился. Заспал крепко-накрепко с устатку.

Утресь просыпаться почал — жить уж пора. Да хорошо, что проснулся не разом, а вполсна. Смотрю, а мои соседи да родня лес из-под меня раскатали, кому сколько надобно, а я в высях лежу на крепком сне, как на подпорке, да носом песни высвистываю!

Скорей рукой один глаз прихватил да половину рта. Одной половиной сплю-тороплюсь, а другой в соображение пришел и вполголоса, чтобы всего себя не разбудить, кричу вниз:

— Сватушки, соседушки! Тащите лестницу да веревки — выручайте, тако спанье перводельное!

Приладился на снах крепких спать. Коли где в высях засплю и жить время придет, то я только норовлю легонько просыпаться. Как попроснусь, так и опущусь, а как совсем глаза открою — я уж на земле али на крыше какой.

Одинова я заспал так в высях, а меня ветром в город отнесло да и спустило на пожарну каланчу, на саму маковку, где сигналам место. Проснулся, а внизу — шум, тревога, народ всполошился. Ищут: где горит? Это меня за сигнал приняли.

Даже не били — домой отпустили. Только полицейский штрафу рупь содрал за спанье в неуказанном месте

В ОДНО ВРЕМЯ В ДВУХ ГОСТЯХ ГОЩУ

Всяка пора бperiods: в другу пору никто не дергат, никуды не зовут, дома сижу и сам с собой разговор веду, спорю редко, больше по согласью расспрашиваю да себя слушаю. С хорошим человеком хорошо поговорить.

Ты думашь, я только и умею сам с собой говорить? Нет, я умею разом в разны стороны ходить. Быват так, что здеся неловко, а то в работу запрягают, в каку не хочу,— я даюсь, на место становлюсь, а сам надвое да так, что и здеся и в сторону на хороший разговор,

а то просто в спанье. Только спать не во всю ширину разворачиваюсь — половина-то меня в работе али в перепалке какой, а друга половина спит.

В другу пору почетить начнут, меня и жону в гости звать станут. Особливо в праздники разом в разны стороны зовут, приглашают. Да не то что зовут, да быть не велят, а с упросом, с уговором, с принукой за руки тянут.

Иных зовут:

— Милости просим мимо наших ворот с песнями!

Мы с жоной экого званья не слыхивали, все с поклоном:

— Садитесь — прижмитесь, хвастайте — языком хрястайте!

Ну вот, в гости зовут, да из разных деревень. Жона хочет в одну, где чаем поить будут, а мне охота в другу где пивом угощать станут. Хошь разорвись...

С жоной спорить не стал, а попросту я разорвался, да так, что весь я здесь с жоной, и весь я в другу деревню к пиву тороплюсь.

Пришел туды — а там пиво наварено, вино напасено. Пришел с жоной сюды — тут самовар кипит.

Я обеими половинами слышу и вижу, и для проверки языком ворочаю. Жона оборотилась ко мне со словами:

— Что, муж, городишь без толку?

А как толком говорить, коли я тут и там здороваюсь? Тут с хозяевами об руку, а с остальными гостями да гостьями поклоном не всех поименно, а всех вообще. Опосля хозяев здешних я об руку там здоровался с хозяевами да с разлюбезными приятелями.

Потчевать стали, ну, я отказываюсь: тут — от чаю, там — от пива-вина. Так, для прилику, с час поотказывался. Потом здеся стакан взял, стал ложкой болтать, а там хлопнул пива стакан, водки стакан да вина стакан. Про чай здешной и позабыл. Здешна хозяйка и спрашиват:

– Кум Малина что ты ложкой болташь, а сахару не кладешь, чаю не пьешь?

А у меня рот выпивкой занят, мне не до чаю, и я объяснение даю:

Коли эдак семьдесят пять разов болтонуть, то чай сладкой станет и без сахару. Только болтать не считать: коли боле али мене семидесяти пяти разов — сладости не будет.

Вот все взялись здесь ложками болтать, только звон пошел. А я туды, там к куме Капустихе и присел. Капустиха — баба ладна, крепка, как брюква. Все чередом пошло. Здеся чай пью с прохладкой, разговор веду молчанкой. А там я язык распустил, словами сыплю, за своими словами, своими мыслями сам едва поспеваю, над столом разговорны узоры развесил. А мне чарки — то хозяин-кум, то хозяйка кума, то сват-сосед, то кума Капустиха подносят. Я на ножки стал, поклон отвесил да от всех за всех и выпил. Это и здесь к разу пришлось: от здешной хозяйки чаю стакан горячего принял — холодной за окошко выплеснул. Моя баба ко мне с улыбчатыми словами:

— Ах, муженек, сколь ты сегодня расхорошой, и с чаю у тебя глаза заблестели, засмеялись!

Я на жонино слово уши развесил да оттудова сюды одну загогулину словесну и перекинул! Там-то с пивом да с водкой загогулина под раз была. А тут хозяйка да гости успели чаем обжегчись; ну, мужикам, хоша и тверезым, конфуз не нужон — мужики хохотом грохнули:

— Ну-ко, еще, Малина! Молчал-молчал, да сказанул!

Там по новому стакану обносят, там пью, там куму Капустиху прихватил и в пляс пошел, а здеся все застолье ходуном пошло.

От пляски меня скружило, и я заместо Капустихи свою бабу обнял. Баба моя закраснелась, как в перву встречу, и говорит:

– И... что ты, ведь я-то, чай, тебе жона!

Я отсюда — туды, к Капустихе: там пляшу, здеся пот утираю.

От тихого сиденья, от пляса, от молчанья да от веселого разговору, от чаю да от хмельного меня закружило. Позабывать стал, которо здесь, которо там. Там тверезым показался — все пьяны сдивились, мне кричат:

— И силен же ты, Малина, на хмельно! Гляньте-ко бабы, девки, на Малину: выпил в нашу меру, а с виду нисколь не приметно.

Сюды пьяным обернулся, тут гогочут:

— Ну и приставлюн, ну и притворщик, Малина! С нами чай пил, а сидит, как пьяной!

Кума, хозяина здешнего, по уму ударило, он мне тихим шепотом:

— Дай-косе и мне развеселья выпить.

Как кума не уважить? Я оттуда сюды стакан за стаканом — да в кума, да в кума. Кум мой мало несет головой и вскорости на четвереньках по избе пошел.

Я там с Капустихой парой в кадрели скачем. Сюда присаживаюсь для разгону жониного сумленья. От деревни до деревни, где я гостил, пять верст, ежели без обходов. Я и мечусь, устал, а от тамошней гостьбы отстать жалко, а от здешней никак нельзя, потому тут баба моя.

Там пляшу, оттуда куму пиво ношу — мы с кумом уж и распьяпехоньки, языками лыко вяжем.

Наши бабы хиханьки в сторону бросили и за нас взялись вместях со всеми гостьями и — ну нас отругивать.

Мы с кумом плетеным лыком, что языками наплели, от бабьей ругани, как от оводов, отмахивались. Бабы не отстают, орут одно:

— Давайте и нам пива! Еще како заведенье заводят: сами напились, а нам и пригубить не дали!

* * *

Мы с кумом ногами пьяны, руками пьяны, языком поворачиваем через большую силу, а головами понимам,— в головах-то все в разны стороны идет, а то, что нам сейчас надобно, то посередке разуменья держим. Бабам объяснение сказали:

— Бабы, мы того — двистительно — как есть. Только это не от выпивки, а от чайного питья. Мы — как, значит, с вами сидели, с вами чай пили,— окошки были полы. В той-то деревне пиво варили, вино пили, ветер все это сюда нес. Нас пьяным ветром и надуло и развезло. Да вам же, бабам, ладней, ковды мужики веселы.

Бабам выпить охота, они и тараторят:

— Выдумщики вы, и кум и Малина. Плетете-плетете всяку несусветность. Мы пива наварим да дух по деревням пустим, ваши словам испытам.

Так ведь и сделали. Обчественно пиво наварили, по соседним деревням с приглашеньем пошли:

— Покорно просим нашего пива испить, к нам не ходя, дома сидя. Только окошки отворите да рот откройте. Нашего пива ждите, коли ветер будет в вашу деревню.

Время к вечеру, ветер подходящий дунул. Бабы посудины с пивом прямь ветру поставили, пива попробовали, нас покликали угощаться.

Я не утерпел, здеся выпил да разорвался надвое: один я весь здесь, а другой тоже весь наскоро по деревням побежал. Наша деревня трезвей всех — у нас пьян, кто пьет, а там, кто не хочет и рот зажимат, только носом свистит,— и тот пьян.

Из соседней деревни сигналы подают, мужики шапками машут, бабы подолами трясут, чтобы больше пивного пьяного духу по ветру слали. Выискались горлопаны, крик до нашей деревни кинули:

— Хорошо в гостях, дома лутче! А того лутче дома гос-

тем сидеть. За угощенье благодарим, и напередки ваши гости дома сидя!

Ветер свое дело делат, по деревням окрест пьяной дух гонит. Деревни-то кругом распьяны, с песнями-хороводами взялись.

А в лесу, а в поле что творится!

Поехали из городу охотники — ветром пьяным на охотников пахнуло, а у городских головы слабы, их разморило. Увидали охотники пьяно зверье, хотели стрелить, да позабыли, которой конец стрелят. Ну, охотники взяли зверье за лапы и ведут в деревню к нам. А сами охотники с ног валятся. Зверье: медведи, да волки, да пара лисиц — на ногах крепче, они от хмелю злость потеряли, веселы стали. Звери охотников — за руки да за ноги, да волоком до деревни, тут с лап на лапы нашим пьяным собакам и сдали.

Охотники хвалятся:

— Гляньте, сколь мы храбры, сколь мы ловки. Живых медведей, волков и пару лисиц в деревню пригнали!

Нам пьяной ветер много разов службу сослужил.

Как каки разбойники, грабители на нашу деревню нацелятся — к примеру: чиновники, попы, полицейски — мы навстречу им пьяной ветер пустим, а пьяных обратно в город спроваживам.

СОБАКА РОЗКА

Моя собака Розка со мной на охоту ходила-ходила, да и научилась сама одна охотиться, особливо за зайцами.

Раз Розка зайца гнала. Заяц из лесу да деревней, да к реке, а тут щука привелась, на берег головищу выставила, пасть разинула. Заяц от Розкиной гонки недосмотрел, что щукина пасть растворена, думал — в како хороше место спрячется, в пасть щуке и скочил. Розка за зайцем —

в щукино пузо и давай гонять зайца по щукиному нутру. Догнала-таки!

Розка у щуки бок прогрызла, выбежала, зайца мне принесла.

Со щукой у нас много хлопот было. Мой дом, вишь, задне всех стоит. Щуку мы всей семьей, всей родней домой добывали.

Тащили, кряхтели, пыхтели. Притащили. Голова во дворе, хвост в реке. Вот кака была рыбина!

Мы три зимы щуку ели. Я в городу пять бочек соленой щуки продал.

Вот пирог на столе, думашь, с треской? Нет, это щука Розкина лова, только малость лишку просолилась, да это ничего, поешь, обсолонись, лучше попьешь. Самовар у меня ведерный, два раза дольем — оба досыта попьем!

ВОЛЧЬЯ ШУБА

Охотилась собачонка Розка на зайцев. Утресь поела — и на охоту. До полдён бегала в лес да домой, в лес да домой — зайцев таскала.

Пообедала Розка, отдохнула — тако старинно заведенье после обеда отдохнуть. И снова в лес за зайцами.

Волки заприметили Розку — и за ней. Хитра собачонка, быдто и не пужлива, быдто играт, кружит около одного места: тут капканы были поставлены на волков. Розка кружит и через капканы шмыгат. Волки вертелись-вертелись за Розкой и попали в капканы.

Хороши волчьи шкуры были, большущи таки, что я из них три шубы справил: себе, жоне и бабке. Волки-то Розкиной ловли, я и Розку не обидел. У своей шубы сзади пониже пояса карман сделал для Розки. Розка тепло любит, в кармане спит и совсем неприметна и избу караулит: шуба в сенях у двери висит, и никому чужому проходу нет

от Розки. А как я в гости засобираюсь, Розка в карман на свое место скочит. По гостям ходить для Розки — перво дело.

В одних гостях увидал поп Сиволдай мою шубу, обзарился и говорит:

— Эка шуба широка, эка тепла! Волчья шуба нарядне енотовой. Эку шубу мне носить больше пристало!

Надел Сиволдай мою шубу, а Розка зубами хватила попа сзаду. Поп шубу скинул и говорит:

— Больно горяча шуба, меня в пот бросило!

Руки урядника к чужому сами тянутся.

— Коли шуба жарка — значит, враз по мне.

Надел урядник шубу, по избе начальством пошел, голову важно задрал. Розка свое дело знат. Рванула урядника и раз, и два с двух сторон. Не выдержал урядник, весь вид важный потерял, сначала присел, потом подскочил, едва из шубы вылез. Отдувается.

— Здорово греет шуба, много жару дает, да одно неладно — в носке тяжела!

Хозяйка в застолье стала звать. Мы сели. Поп Сиволдай присел было, да подскочил — Розка знала, куда зубы запустить.

Сиволдай стал на коленки у стола.

— Я буду на коленях молиться за вас, пьяниц, и чтобы вы не упились, лишне вино в себя вылью.

Урядник тоже попробовал присесть и тоже подскочил, за больно место ухватился.

— Ах, и я по примеру попа Сиволдая стану на коленки.

Стоят на коленках перед водкой поп да урядник и пьют и заедают.

Народу набилось в избу полнехонько, всем любопытно поглядеть на попа и урядника в эком виде.

Какой-то проходящий украл мою шубу, подхватил в охапку, по деревне быдто с дельной ношей прошел. За деревней проходящий шубу надел. Розка его рванула зу-

бами. Проходящий взвыл не своим голосом. На всю Уйму отдалось.

Мы сполошились: что тако стряслось? Из застолья выбежали и видим: за деревней человек удират, за зад руками держится.

А по деревне к нам шуба бежит, рукавами размахиват, воротником во все стороны качат, собак пугат.

Урядник на меня наступат, пирог доедат, торопится, пирогом давится, через силу выговариват:

— Кака така сила в твоей шубе? Меня искусала и сама по деревне бегат?

Поп недоеденный пирог в карман упрятал.

— Это колдовство! Дайте сюда святой воды. Я шубу изничтожу.

Дали воды из рукомойника. Сиволдай брызнул на шубу раз да и два. На Розку водой попал. Розка водяного брызганья не терпит, с шубой вместях подскочила, попа за пузо рванула.

— Ох!— заверещал поп. За живот руками хватился и за угол дома спрятался, оттуда визжит.

Шуба — к уряднику. Это Розка все своим умом выделыват, мое дело сторонне, урядник ноги заподкидывал да бегом из нашей деревни. И долго к нам не показывался.

Городски полицейски знали мою шубу: коли в волчьей шубе иду, не грабили.

ПОРОСЕНОК ИЗ ПИРОГА УБЕЖАЛ

Тетка Тороныга попа Сиволдая в гости ждала. И вот заторопилась, по избе закрутилась, все дела зараз делат и никуды не поспеват!

Хватила поросенка, водой сполоснула да в пирог загнула. Поросенок приник, глазки зажмурил, хвостиком не вертит. Торопыга второпях позабыла поросенка выпотрошить.

А поп зван ись пирог с поросенком.

Тетка Торопыга щуку живу на латку положила, на шесток сунула. Взялась за пирог с поросенком, в печку посадила. А под руку друго печеньё, вареньё сунулось. Торопыга пирог из печки выхватила, в печку всяко друго понаставила. Пирог недопечённый, да щуку сыру на стол швырнула. У пирога корки чуть-чуть прихватило, поросенок в пироге рыло в тесто уткнул и жив отсиделся.

Торопыга яйца перепечённы по столу раскидала. Сама вьется, ног не слышит, рук не видит, вся кипит!

Поросенок из пирога рыло выставил и хрюкат щуке:

— Щука, нам уходить надо, а то поп Сиволдай придет, нас с тобой съест, не посмотрит, что мы не печены, не варены.

— Как уйдем-то?

— За пирог, в коем я сижу, зубами уцепись, от стола хвостом отмахнись, по печеным яйцам к двери прокатись, там ушат с водой стоит, в ушат и ладь попасть.

Щука так и сделала. За пирог зубами уцепилась, хвостом отмахнулась, по печеным яйцам прокатилась да к двери.

Пирог о порог шлепнулся, корки разошлись, поросенок коротенько визгнул, из пирога выскочил да на улицу, да к речке и у куста притих.

А щука в ушат с водой угодила, на само дно легла и ждет.

Торопыга пусты корки пироговы в печку сунула — допекла. Гости в избу. Поп Сиволдай еще в застолье не успел сесть — пирог в обе руки ухватил, тем краем, из которого поросенок убежал, повернул ко рту и возгласил:

— Во благовремении да с поросенком...— и потянул в себя жар из пирога.

Жаром поповско нутро обожгло. В нутре у попа заурчало, поп с перепугу едва слово выдохнул:

— Кума, я поросенка проглотил! Слышь — урчит.

Крутонулся Сиволдай из избы да к речке, упал у куста и вопит:

— Облейте меня холодной водой, у меня в животе горячий поросенок!

Торопыга заместо того, чтобы воды из речки черпнуть, притащила ушат с водой и чохнула на попа.

Щука хвостом вильнула, в речку нырнула.

Поросенок это увидел, из-за куста выскочил и с визгом ускакал в сторону.

Поп закричал:

— Не ловите его, он съеден был!

После екого угощенья поп не то что не сыт, а даже отощал весь.

ПОП-ИНКУБАТОР

Поп Сиволдай к тетке Бутене привернул. Дело у попа одно — как бы чего поесть да попить.

Тетка Бутеня в город ладилась, на столе корзина с яйцами. Поп Сиволдай потчеванья, угощенья да к столу приглашенья не стал ждать: на стол поставлено — значит ешь. Припал поп к корзине и давай яйца глотать, не чавкая. Тетка Бутеня всполошилась:

— Что ты, поп! Ведь с тобой неладно станет, проглотил десяток да еще две штуки.

— Нет, кума, проглотил я пять, ну, да пересчитывать не стану.

Тетка Бутеня страхом трепещется, говорит-торопится:

— Поп, боюсь я за тебя и за себя, кабя мне не быть в ответе. Рыгни-ка! Может, недалеко ушло, сколько ни есть обратно выкатятся.

Поп Сиволдай головой мотат, бородой трясет, волосами машет. Жаль ему, что проглочено, отдавать.

— Я сегодня на трои именины зван да на новоселье. Во всех местах пообедаю, ну и, авось, того, ничего!

Поп па именинах на троих пообедал и кажной раз принимался есть, как с голодного острова приехал. На новоселье поужинал. И на ногах не держится — брюхо-то вперед перецеплят.

Дали попу две палки подпорами. Ну, Сиволдай подпоры переставлят, ноги передвигат и таким манером до дому доставился, лег на кровать.

А в тепле да впотемни у попа в животе цыплята вывелись, выросли, куры яйца снесли и новых цыплят вывели.

Поп Сиволдай в церкви службу ведет, проповедь говорит:

Мне дров запасите,
Мне сена накосите,
Мне хлеб смолотите,
Мне же, попу же,
Деньги заплатите!

А петухи в поповом животе, как певчие на клиросе, ко всякому слову кричат:

— Ку-ка-ре-ку!

Народу забавно: потешней балагана, веселей кинематографа.

Это бы и ничего, да вот для попадьи большо неудобство.

Как поп Сиволдай спать повалится, так в нем петухи и заорут. Они ведь не зпают, ковды день, ковды ночь,— кричат без порядку времени — кукарекают да кукарекают.

Попадья от этого шуму сна лишилась.

Тут подвернулся лошадиный доктор. По попадьиному зову пришел, попу брюхо распорол, кур, петухов да цыплят выпустил, живот попу на пуговицы стеклярусны застегнул (пуговицы попадья от новой модной жакетки отпорола).

А кур да петухов из попа выскочило пятьдесят четыре штуки, окромя цыплят. Тетка Бутеня руками замахала, птиц ловить стала.

— Мои, мои, все мои! Яйца поп глотал без угощенья, значит, вся живность моя!

Поп уперся, словами отгораживатся:

— Нет, кума, не отдам! В кои-то веки я своим собственным трудом заработал. Да у меня заработанного-то еще не бывало!

Тетка Бутеня хватила попа и поволокла в свою избу. Попадье пояснила:

— Заместо пастуха прокормлю сколько-нибудь ден.

Дома тетка дала попу яиц наглотаться. И снова у попа без лишной проволочки цыплята вывелись. Его, попа-то, в другу избу потащили. Так вся Уйма наша кур заимела.

Поповску жадность наши хозяйки на пользу себе поворотили.

Мы бы и очень хорошо разбогатели, да поповско начальство узнало, зашумело:

— Кака така нова невидаль — от попа доход! Никовды этого не бывало. Попу доход — это понятно, а от попа доход — пебывалошно дело! Что за нова вера? И совсем не пристало попу живот свой на обчественну пользу отдавать! Предоставить попа Сиволдая с животом, застегнутым на модны стеклярусны пуговицы, в город и сделать это со всей поспешностью.

А время горячо, лошади заняты, да и самим время терять нельзя. Решили послать попа по почте. Хотели на брюхо марку налепить и заказным письмом отправить. Да денег на марку — па попа-то, значит,— жалко стало тратить. Мы попу на живот печать большу сургучну поставили, а сзади во всю ширину написали: доплатное.

В почтовой ящик поп не лезет, ящик мал. Мы ящик малость разломали и втиснули-таки попа. А коли в почтовой ящик попал, то по адресу дойдет! Только адрес-то не в город написали, а в другу деревню (от нас почтового ходу день пять будет!).

Думашь, вру? У меня и доказательство есть.

С той самой поры инкубаторы и завелись.

ОГЛОБЛЯ РАСЦВЕЛА

Разны дожди живут. И редкой стороной пройдет. Да мы не всякого и зазывам. Ежели сердитый, который по постройкам барабанит и крыши пробиват, того мы в город спроваживам. Сердитой дождище чиновников, полицейских прополощет, прохлещет — после него простому народу дышать легче.

В бывалошно-то время мы сами-то мало что могли сделать. На все, что хорошо, запреты были, а коли сделашь, что для всех пользительно, за то штрафом били.

Дожди — народ вольный, ходили, что нужно выращивали, что лишно — споласкивали, водой прочь угоняли.

Дожди порывисты у чиновников, даже у самых больших, у самых толстомордых, фуражки с кокардами срывали. Приказы со стен смывали. Нам дожди подмогой бывали и в поле, и на огороде. В деревне дождям радовались, в городу от дождя прятались.

Был у меня друг-приятель совсем особенный — дождь урожайной. Только вот не упреждал о себе, прибегал, когда ему ловче, дожди и спят и обедают не в наше время, у них и недели други, не как у нас.

Прибежит урожайной дождик, раскинется бисером, частой гово́рей.

Тут только не зевай, время не теряй, что хошь посади — зарастет.

Вот раз урожайной дождик зазвенел, брызгами сосветился. Я ладился стару оглоблю на дрова изрубить, взял да и ткнул в землю оглоблю-то.

Оглобля супротивиться не стала, буди того и дожидала — разом зазеленела и в рост пошла.

Я торопился, по двору крутился, чтобы деревянну хозяйственность в рост пустить. Что на глаза да под руки попало — все на оглоблю растущу, цветущу накидывал: ведра, шайки, полагушки, грабли, лопаты, палки для ухва-

тов, наметельники, для белья катки и вальки, на крынки деревянны покрышки. Попалось веретено — подкинул и его.

Над моим двором зеленой разговор пошел.

Новоурожайна хозяйственность первоочередно поспела и веселыми частушками в кучи складывалась, и как по заказанному счету, всем хозяйкам на всю Уйму по штуке и про запас по десятку. Никому и не завидно, никому не обидно — всем в обиход.

Наше богатство нашему согласью не было помешней. А на оглобленном дереве новы оглобли расти стали. Сначала палками, а подтянули себя — и в кучи новы оглобли улеглись.

С дерева оглобли не все пали, которы занозисты, те цвели да размахивались, в разны стороны себя метали, и с присвистом. В нашу сторону от оглобель песня неслась веселая с припевом:

Деревенских мы уважим,
Путь чиновникам покажем,
Сопроводим их
Мимо наших ворот с песнями.

У оглобель дела с песнями не расходятся. Как к нашей деревне почнет подбираться чиновник по крестьянским делам али полицейский со злым умыслом, так оглобли свистнут в ихну сторону и вдоль спины опрягут, по шее огреют и мимо дорогу покажут. От злыдней мы страху натерпелись, и им острастка нужна была.

Чиновники тоже в умно рассуждение пустились:

— Палка,— говорят,— о двух концах.

Про палку оно верно, да когда палка в руках. А оглобли-то сами собой управляли и обоими концами били кого надо. Битые-то, бывало, стороной обходили всяко дерево у деревни. У нас и поговорка была:

— Пуганы чиновники куста боятся.

САНИ ВЫРОСЛИ

Со мной да с санями при урожайном дождике еще тако дело было.

Ладил сани, как заведено, летом, к зиме готовился. Слышу — ровно стеклянны колокольчики звенят. Оглянулся, а дожик падат, как пляшет, на лужицах пузырями играт.

Я сани вперверт и в землю ткнул. И места не узнал!

Кругом зазеленело, круг меня выкинулся лесок и много места занял, да вырос не на месте.

Мне мешкать некогда. Стал я лес вырубать. Как лесину срублю, она сама распадется на полозья, на копылки, на поперечины, на продольны доски. Ветки крутятся, сани сами связываются, в ряды выравниваются.

Скорым часом весь лесок вырубил, разогнулся, оглянулся. Сани свежим деревом блестят, даже ослепительно, запах смолистый, душистый — нюхай да силы набирайся, очень пользительный дух.

Сосчитал сани, на всю Уйму, по саням на двор, насчитал и запасных сколько надо.

Урядник, чиновник по крестьянским делам, поп Сиволдай на сани обзарились и решили утащить хотя бы одни на троих. Им чужо добро руки не кололо.

Наших уемских опасались, знали, что у нас к ним терпенья мало.

Изловчились-таки, сани украли. А сани-то еще не устоялись, себя внутрях дорабатывали. Взяли сани этих воров в переработку. Их и полозьями гнули и вицами крутили.

Поп, чиновник, урядник от саней отцепиться не могут. Так тройкой себя и в город пригнали и по городу, по улицам вскачь. Поповы волосы очень но на гриву похожи. Урядник и чиновник медными пуговицами гремят, как шаркунками, сабля за ними хвостом летит.

Со стороны глядеть — похоже на тройку, только ног не тот счет и насчет тулова сумленье было.

Тройка из сил выбилась, их признали.

Бросились ко мне протокол писать, меня штрафовать.

А я при чём? Сани общи, деревенски. Мы брать не неволили.

Эта тройка нас прокатывала да па нас прокатывалась. На этот раз себя прокатили — на себя пусть и жалятся!

КАК УЙМА ВЫСТРОИЛАСЬ

Был я в лесу в саму ранну рань, день чуть зачинался Дождик веселый при солнышке цветным блеском раскинулся.

Это друг-приятель мой, дождь урожайный, хорошего утра проспать не хотел.

Дождик урожайный, а мне посадить нечего, у меня только топор с собой. Ткнул я топор топорищем в землю.

И-и, как выхвостнулся топор!

Топорище тонкой лесинкой высоко вверх выкинулось. Ветерком лесинку-топорище во все стороны гнет. А топор — парень к работе напористой.

Почал топор дерёва рубить, обтесывать, хозяйственно обделывать, время понапрасну не терят.

Я от удивленья только руками развел, а передо мной по лесной дороге избы новосрублены рядами выставают. Избы с резными крылечками, с поветями. У каждой избы для колодца сруб, и у каждой избы своя баня. Бани двери прихлопнули: приучаются тепло беречь.

Я под избяны углы кругляши подсунул, избы легонько толконул и с места сдвинул.

Домов-обнов длинный черед покатился к деревне.

Деревня наша до той поры мала была — домишков ряд коротенькой — и звалась не по-теперешнему.

Как новы дома заподкатывались! Народ без лишних разговоров дома по угору над рекой поставил рядом длинным на многоверстье.

С того часу деревню нашу и стали звать Уймой.

Только вот мы, живя в ближности друг с дружкой, привыкли газтиться. В старой деревне мы с конца в конец перекликались, в гости зазывали и сами скоро отзывались. У нас не как в других местах, где на первый зов кланяются, на второй благодарят, после третьего зову одеваются.

В новой деревне из конца в конец не то что не докричишься, а в день и до конца не дойдешь. Мы уж хотели железну дорогу по деревне прокладывать — в гости ездить (транвая в те поры еще не знали).

Для железной дороги у нас железа мало было.

Мы для скорости движенья на обоих концах Уймы длинны пружины в землю концом воткнули. За верхний конец уцепимся, пружину пригнем. Пружина в обратный ход выпрямится. Тут только отцепись и лети, куда себя нацелил: до середины деревни али до самого конца.

Мы себе подушки подвязывали, чтобы мягко садиться было. Наши уемски для гостьбы на подъем легки.

Уйма выстроилась, выставилась. Окнами на реку и на заречье любуется. Стоит красуется, сама себя показыват.

А топор работает без устали, у меня так приучен был. Новы овины поставил, мельницу выстроил. Я ему, топору-то, новый заказ дал: через речки мосты починить, по болотам дощаты переходы перекинуть.

Да как завсегда в старо время, хорошему делу чиновники мешали.

Проезжали лесом полицейской с чиновником, проезжали в том месте, где топор хозяйствовал. Топор по ним размахнулся, да промахнулся.

Ох, в каку ярость вошли и полицейский и чиновник! Лесинку-топорище сломали, па куски приломали и спохватились!

— Ахти да ахти! Мы поторопились, пе досмотрели, с чего началось, от кого повелось, не доглядели, кого штрафовать и сколько взять.

Много жалели о промахе своем чиновник и полицейской.

Топор тоже жалел, что промахнулся, к ихней увертливости не приладился.

Так чиновник и полицейской до самого последнего своего времени и остались неотесанными.

ЯБЛОНЕЙ ЦВЕЛ

Хорошо дружить с ветром, хорошо и с дождем дружбу вести.

Раз вот я работал на огороде, это было перед утром. Солнышко чуть спорыдало.

Высоко в небе что-то запело переливчато. Прислушался. Песня звонче птичьей. Песня ближе, громче, а это дождик урожайный мне здравствуй кричит.

Я дождику во встречу руки раскинул и свое слово сказал:

— Любимый дружок, сегодня я никаку деревянность в рост пускать не буду, а сам расти хочу.

Дождик перестал по сторонам разливаться, а весь на меня, и не то что брызгал аль обдавал, а всего меня обнял, пригладил, буди в обнову одел. Я от ласки такой весь согрелся внутрях, а сверху в прохладной свежести себя чувствую.

Стал я на огороде с краю да у дорожного краю босыми ногами в мягку землю. Чую, в рост пошел! Ноги корнями, руки ветвями. Вверх не очень подаюсь, что за охота — с колокольней ростом гоняться.

Стою, силу набираю да придумываю, чем расти, чем цвести? Ежели малиной, дак этого от моего имени по всей округе много.

Придумал стать яблоней. Задумано — сделано. На

мне ветки кружевятся, листики развертываются. Я плечами повел и зацвел. Цветом яблонным.

Я подбоченился, а на мне яблоки спеют, наливаются, румянятся. От спелых яблоков яблонный дух разнесся, вся деревня зарадовалась.

Моя жона перва увидала яблоню на огороде — это меня-то! За цветущей нарядностью меня не приметила. Рот растворила, крик распустила:

— И где это Малина запропастился, как его надо, так его нету! У нас тут заместо репы да гороху на огороде яблоня стоит! Да как на это начальство поглядит?

Моя жона словами кричит сердито, а личиком улыбается. И я ей улыбку сделал, да по-своему. Ветками чуть тряхнул и вырядил жопу в невиданну обнову.

Платье из зеленых листиков, оподолье цветом густо усыпано, а по оплечью спелы яблоки румянятся. Моя баба приосанилась, свои телеса в стройность привела. На месте повернулась павой, по деревне поплыла лебедью.

Вся деревня просто ахнула! Парни гармони растянули, песню грянули:

Во деревне нашей
Цветик-яблоня цветет,
Цветик-яблоня
По улице идет!

Круг моей жоны хоровод сплели. Жона в полном удовольствии.

Цветами дорогу устилат, яблоками всех одариват. Ноженькой притопнула и звонким голосом запела:

Уж вы жоночки-подруженьки,
Сватьи, кумушки,
Уж вы девушки-голубушки,
Время даром не ведите,
К моему огороду вы подите,
Там на огородном краю,
У дорожного краю
Растет-цветет ново дерево,

Ново дерево — нова яблоня,
Станьте перед яблоней, улыбаючись,
Оденет вас яблоня и цветом, и яблоками!

Тако званье два раза сказывать не надо. Ко мне девки, бабы идут, улыбаются, да так хорошо, что теплый день еще больше потеплел. Все, что росло, что зеленело кое-как — все полной мерой в рост пошло. Дерева вызнялись, кусты расширились, травки встрепенулись, цветочками запестрели. Вся деревня садом стала. Дома как на именинах сидят.

Девки, жонки на меня дивуются да поахивают.

Коли что людям на пользу — мне того не жалко. Я всех девок и баб-молодух одел яблонями. За ними старухи: котора выступками кожаными ширкат, котора шлепанцами матерчатыми шлепат, котора палкой выстукиват. А тоже стары кости расправили, на меня глядя улыбаются. И от старух весело коли старухи веселы.

Я и старух обрядил и цветами, и яблоками.

Старухи помолодели. Старики увидали — только крякнули, бороды расправили, волосы пригладили, себя одернули, козырем пошли за старухами.

Наша Уйма вся в зеленях, вся в цветах, а по улице — фруктовый хоровод.

Яблочно благорастворенье во все стороны понеслось и до городу дошло.

Чиновники носами повели — завынюхивали.

— Приятственно пахнет, а не жареным, не пареным, не разобрать, много ли доходу можно взять.

К нам в Уйму саранчой налетели. Высмотрели, вынюхали. И на чиновничьем собрании порешили:

— В деревне воздух приятне, жить легче, на том месте большо согласье, а посему всему обсказанному — перенести город в деревню, а деревню перебросить на городско место.

Ведь так и сделали бы! Чиновникам чем диче, тем лов-

че. Остановка вышла из-за купцов: им тяжело было свои туши с места подымать.

У чиновников сила в чинах да в печатях: припечатывать, опечатывать, запечатывать. У купцов сила была в капиталах ихних, в местах больших с лавками, лабазами, с домами каменными. Купцы пузами в прилавки уперлись, из утроб, как в трубы, затрубили:

— Не хотим с места шевелить себя. Мы деревню и отсюда хорошо обирам. Мы отступного дать не отступимся, а что касательно хорошего духу в деревне, то коли его в город нельзя перевезти — надо извести.

Чиновникам без купцов не житье, а нас, мужиков, они и во всех деревнях грабить доставали.

Чиновницы, полицейщицы тоже запах яблонный услыхали:

— Ах, каки приятственны духи! Ах, надобно нам такими духами намазаться!

К нам барыни-чиновницы, полицейщицы заторопились, которы на извозчиках, которы пешком заявились. Увидали наших девок, жонок, у всех ведь оподолье в цветах, оплечье в спелых яблоках. Барыни от зависти, от злости позеленели и зашипели:

— И совсем не пристало деревенским так наряжаться! Это только для нас подходяще. И где таки нарядности давают, почем продавают, с которого конца в очередь становиться? А мы и без очереди, по нашей образованности и по нашей важности!

А мы живем в саду, в ладу, у нас ни злости, ни сердитости. При нашем согласье печки сами топятся, обеды сами варятся, пироги, шаньги, хлебы сами пекутся.

В ответ чиновницам старухи прошамкали, жонки проговорили, а девки песней вывели:

У Малины в огороде
Нова яблоня цветет,
Нова яблоня цветет,
Всех одариват!

Барыни и дослушивать не стали. С толкотней, с перебранкой ко мне прибежали, зубы щерят, глаза щурят, губы в ниточку жмут.

На них посмотреть — отвернуться хочется.

Я ногами-корнями двинул, ветвями-руками махнул и всю крапиву с Уймы собрал, весь репейник выдергал. На злыдень городских налепил. Они с важностью себя встряхивают, носы вверх задирают, друг на дружку не глядят, друг от дружки отодвигаются, чтобы себя не примять, чтобы до городу в сохранности свой вид донести.

Прибежали попадьи с большущими саквояжами. Сначала яблоками саквояжи туго набили, а потом передо мной стали тумбами да копнами.

Охота попадьям яблонями стать и боятся: а дозволено ли оно, а показано ли? Нет ли тут силы нечистой? У своих попов не спросили, не сдогадались спросить у Сиволдая, да к нему с пустыми руками не пойдешь.

От раздумчивости у поповских жен рожи стали похожи на булки недопечены, глаза изюминками, а рты разинуты печными отдушинами, из этих отдушин пар со страхом вперемежку так и вылетал.

У меня ни крапивы, ни репейника. Собрал я лопухи, собрал чертополох и обленил одну попадью за другой. Попадьи искоса глянули на себя, видят — широко, значит, ладно.

В город поплыли зелеными кучами.

И полицейщицы и чиновницы со всей церемонностью в город заявились. Идут, будто в расписну стеклянну посуду одеты и боятся разбиться. Сердито на всех фыркают. Почему-де никто не ахат, руками не всплескиват, и почему малы робята яблочков не просят?

К знакомым подходят, об ручку здороваться, а знакомы от крапивы и репейника в сторону отскакивают.

По домам барыни разошлись, перед мужьями вертятся, себя показывают, мужей и колют и жгут. В ихних домах

ругань да визготня поднялась, да для них это дело завсегдашно, лишь бы не на людях.

Приплыли в город попадьи, а были они многомясы, телом сыты — на них лопухи во всю силу выросли. Шли попадьи, каждая шириной во всю улицу. К домам подошли, а ни в калитку, ни в ворота влезть не могут.

Хоть и конфузно было при народе раздеваться, а верхни платья с себя сняли, в домы заскочили.

Попадьи отдышались и пошли по городу трезвонить!

— И вовсе нет ничего хорошего в Уйме. Ихно согласное, ладное житье от глупости да от непониманья чинопочитанья. То ли дело мы: перекоримся, переругаемся — и делом заняты, и друг про дружку все вызнали! И скуки не знам.

Чиновницы заместо телефона из форточки в форточку кричали — попадьям вторили.

Чиновницы с попадьями о лопухах говорили с хихиканьем.

А попадьи чиновниц крапивным семенем обозвали.

Это значит — повели благородный разговор.

Теперица-то городски жители и не знают, каково раньше жилось в городу. Нынче всюду и цветы, и дерева. Дух вольготный, жить легко.

Ужо, повремени малость, мы нашу Уйму яблонями обсадим, только уж всамделишными.

ИНСТЕРВЕНТЫ

Ты, гость разлюбезный, про инстервентов спрашивашь. Не охоч я вспоминать про них, да уж расскажу.

Ну вот, было тако время, понаехали к нам инстервенты, да и инстервенток привели с собой — тьфу!

Понимали, видать, что заскочили на одночасье, и почали воровать вперегонки.

Как наши бабы стирано белье развесят для просыху, вышиты рубахи, юбки с вышитым оподольем, тою же минутой инстервенты сопрут — и перечить не моги.

По разным делам расстервенились инстервенты на нашу деревню и всех коней угнали. Хошь дохни без коней! Сам понимашь, как без коня землю обработать? Тракторов в те поры не было, да и были бы, так и трактора угнали бы инстервенты.

Меня зло взяло: коня нет, а сила есть.

Хватил телегу и почал кнутом огревать!

Телега долго крепилась, да не стерпела, брыкнула задними колесами и понесла!

Я на ходу соху прицепил, потом борону. Спахал всю землю, некогда было разбирать, котора моя, котора соседа, котора свата али кума — всю под одно обработал да засеял, и все в один упряг. Да еще огороды справил. Телегу я смазал досыта и поставил для передыху.

Вдруг инстервенты набежали, от горячки словами давятся, от злости на месте крутятся. Наши робята в хохот, на них глядя.

Инстервенты из себя лезут вон, истошными голосами кричат:

— Кто землю разных хозяв под одну спахал? Что это за намеки? Подать сюда этого агитатора!

Мы телегу вытащили.

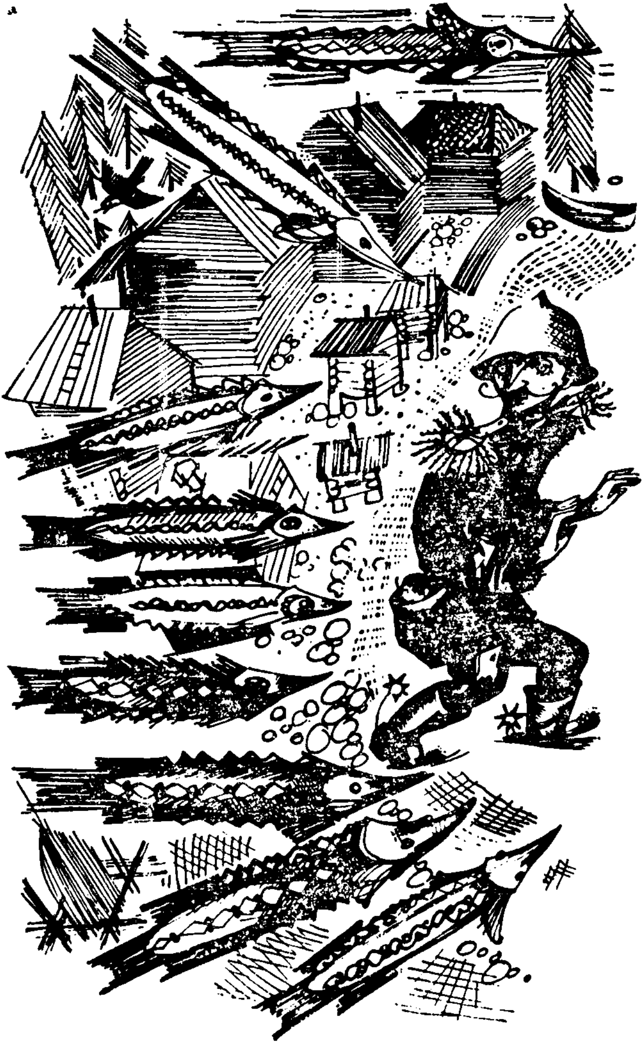
— Вот она виновата, ейна проделка.

Инстервенты к телеге бросились, а я телегу по заднему колесу хлопнул: знай, мол, что надо делать!

Телега лягнула, оглоблями размахнула, инстервентов которых в болото, которых за реку махнула. Сама вскачь в город побежала ответ держать!

Я за телегой. Как ее одну оставить? Телега разошлась, моего голосу не слышит, сама бежит, себя подгонят

В городу начальство инстервентско на Соборной площади собралось, все в голос кричат:



— Арестовать! Колеса снять! Расстрелять!

Телега без раздумья да с полного маху оглоблями размахнулась на все стороны. Инстервенты — на землю, а кои не успели опрокинуться, у тех скулы трещат. Работала телега за всю Уйму!

Инстервенты сабли достали, из пистолетов палят, да куды им супротив оглобель!

Я за угол дома спрятался и все вижу. И увидал: волокут пушки большущи, в телегу палить ладят.

Я закричал из-за угла:

— Телега! Ты нам нужна, как мы без тебя? Телега, телега, выворачивайся как-нибудь!

Телега услыхала, оглоблями пуще замахала, а сама к берегу, к воде пятится.

Пароходы, что за реку в деревни бегают, да буксиры — народ наш, рабочий брат — увидали, что телега в эком опасном положении, на выручку заторопились. Пароходы по воде вскачь!

К месту происшествия прибежали, кормы приподняли, винтами воду на берег пустили. Инстервентов и их пушки водой залили, пушки и налить не могут. С инстервентов форс смыло, и такой у них вид стал, что срам смотреть.

Пароходы телегу на мачты подхватили. Я успел, на телегу сел. Пароходы свистками марш завысвистывали и привезли телегу домой целехоньку.

Мы телегу в другой двор поставили для сбережения от инстервентов. У телег отлика не велика — поди распознай, котора воевала?

А тебе скажу по дружбе, котора телега. Как в Уйму придешь, считай четырнадцатый дом от краю, у повети стоит телега — та сама.

СТЕРЛЯДЬ

Ко мне в избу генерал инстервентский заскочил. От ярости трепещется, криком исходится. Подай ему живу стерлядь!

У меня только что поймана была, не сколь велика — аршина три с гаком. Спрятать не успел, держу рыбину под мышкой, а сам трясусь, коленки сгибаю, оторопь проделываю, быдто уж очень я пужлив, а сам стерлядь тихонечко науськиваю.

Стерлядь, ты сам знашь, с головы остриста, со спины костиста.

Вот инстервент пасть разинул, чтобы дыху набрать да криком всю Уйму напугать.

Я стерлядь ему в пасть! Стерлядь скочила и насквозь проткнула. Головой по ногам колотит, а хвостом но морде хлещет!

Генерал инстервентский ни дыхнуть, ни пыхнуть не может. Стерлядь его по деревне погнала, солдаты фрунт делали да кричали:

— Здравья желам!

От крику стерлядь пуще лупила инстервента, он шибче бежал.

Стерлядь в воду — и пошла мимо городу, инстервент лапами всема четырьмя по воде хлопат, воду выкидыват, как машина кака.

В городу думали, что нова подводна лодка идет. Флагами да свистками честь отдавали и все спорили, какой нации новый водяной аппарат!

А как распознать инстервентов? Все на одну колодку. Тетка моей жоны, старуха Рукавичка, сказывала:

— Не вызнать даже, кто из них гаже!

А стерлядь мимо Маймаксы да в море вышла. По морю к нам еще инстервентски военны пароходы шли и тоже нас грабить. Увидали в подозрительну трубу стер-

лядь с генералом, думали — мина диковинна на них идет, закричали:

— Гляньте-ко — русски каку-то смертоубийственну машину придумали!

В большом страхе заворотились в обратну дорогу, да норато круто заворотились: друг дружке боки проткнули и ко дну пошли.

Одной напастью меньше!

ЗЕЛЕНА БАНЯ

Запонадобилась мне нова баня: у старой зад выпал да пол провалился. За сосновым али еловым лесом ехать далеко. А тут у нас наотмашь за деревней, на сыром месте ивы росли. Я их и срубил, четыре столба сваями под углы вбил, поставил баню всю ивову. Да в свежу, нову мыться пошел. Баню жарко натопил.

Вот моюсь да окачиваюсь, а про веник позабыл.

— Охти мнеченьки, как же париться без веника!

Отворил дверь из бани, глянул — а я высоко над деревней!

Умом раскинул и в разуменье пришел: ивовы столбы от теплой воды проросли да и выросли дерёвами и вызняли меня в поднебесну, да и вся баня зеленью взялась. Я от стен да от косяков дверных ивовых веток свежих наломал, веник связал. И так это я в полну меру напарился!

Из бани вышел, жона догадалась лесенку приставить.

А банный пар из бани тучей выпер, поостыл да дождиком теплым и пал.

Это дело я стал в уме держать.

Вот стало время жарко-прежарко, а без дождя. Хлеба да травы почали гореть.

Вижу — поп Сиволдай с конца деревни обход начинат, кадилом машет и вопит во всю глотку:

— Жертвуйте мне больше, я вам дождь вымолю!

Я забежал с другого конца деревни и тоже заорал:

— Не давайте Сиволдаю ни копейки, ни гроша! Я вам дождь через баню достану, приходите, кому париться охота!

Баню натопил самосильно. Старики да старухи у банной лесенки стабунились, дожидают моего зову в баню карабкаться. Я велел им стать чередом парами и здыматься по две пары париться.

А я парю-хвощу да пар поддаю. Старье только покрехтыват от полного удовольствия.

Как отпарю две пары, на веревке вниз спущу. Двери банны настежь отворю, пар стариковский толстой тучей выпрет. А родня стариков, что парились, подхватит тучу вилами да граблями и волочет на свое поле. Там туча поостынет и дождем теплым падет.

Столько в тот год у нас наросло, что сами были сыты и всю округу прокормили.

ОГЛУШИТЕЛЬНО РУЖЬЕ

Сказывал кум Ферапонт — мы его Ферочкой звали,— сказывал про свое ружье. Ствол, мол, широченной, калибру номер четыре.

Это что четыре! У меня вот ружье, тоже своедельно — ствол калибру номер два!

Кабы еще чуть пошире, я бы в ствол спать ложился. А так в ем, в стволе ружейном калибру номер два, я сапоги сушил, провиант носил.

Опосля охоты, опосля пальбы ствол до большой горячности нагревался, и жар в ем долго держался.

В зимни морозы, в осенню стужу это было часто очень к месту и ко времени. От устали отдыхать али зверя дожидать на теплом стволе хорошо! Приляжешь и поспишь часок другой-третий, как на лежанке.

Чтобы тепло попусту не тратилось, я к стволу крышку сделал. Выпалю для тепла, крышкой захлопну и ладно.

Бывало, сплю на теплом ружье, на горячем стволе, а Розка, собачонка, около сторожем бегат. Как какой непорядок: полицейского, волка или другого какого зверя почует, ставень от ствола оттолкнет в сторону, меня холодом разбудит. Ну, я с ружьем своим от всякого оборону имею. Мое ружье не убивало, а только оглушало, тако оглушительно было.

Раз я дров нарубил, устал, на ружье, на теплом стволе спать повалился.

Лесничий с полицейским занодкрадывались. Рубил-то я в казенном лесу. Розка тихомолком ставень откинула, меня холодом разбудило. Кабы малость дольше спал, меня бы сцапали и с дровами и с ружьем.

Я вскочил, стряхнулся, выпалил да так хорошо оглушил лесничего с полицейским, что у них отшибло и память и всяко пониманье, а движенье осталось. Я на лесничем, на полицейском, как на заправской паре дрова из лесу вывез. Оглушенных в деревне на улице оставил, сам в лес воротился. Мне и ответ держать не надо.

С этим оглушительным ружьем я на уток охотился. В саму утрешну рань нашел озерко, на ём утки плавают, в туманной прохладности покрякивают, меня не слышат.

Ружье-то утки видят, таку махину не всегда спрячешь. Видят утки ружье, да в своем утином соображении ствол калибру номер два и за ружье не признают. Это мне даже сквозь туман явственно понятно.

Утки оглушительно ружье за пароходну трубу сосчитали: думали, труба в отпуску и прогуливат себя по лесу. Не все ей по воде носиться, а захотела по горе походить. Утки таким манером раздумывают, по воде разводье ведут, плясом кружатся.

Туман топьшать стал, утки в мою сторону запогля-

дывали. Я пальнул. Разом все утки кверху лапками перевернулись и стихли.

Надо уток достать, надо в воду залезать, а мне неохота, вода холодна. Кабы Розка, собака, была, она бы живо всех уток вытащила. Да Розка дома осталась.

Жона шаньги житны пекла. Об эту пору у Розки большое дело — попа Сиволдая к дому не допускать. А поп по деревне бродил, носом поводил, выискивал, чем поживиться.

Розка — умна животна: пока все не съедено, пока со стола не убрано, ни попа, ни урядника полицейского, ни чиновника (не к ночи будь помянуто, чтобы во снах не привиделся) и близко не подпустит. Коли свой человек идет: кум, сват, брат, Розка хвостом вилят, мордой двери отворят.

Сижу, про собаку раздумываю, трубку покуриваю, про уток позабыл.

К уткам понятие и все ихны чувства воротились. Утки зашевелились, в порядок привелись, крылами замахали и вызнялись. «Вот,— думаю,— достанется мне от жоны за эко упущенье».

Утки вызнялись, тесно сбились, совещание ведут Я опять пальнул. Уток оглушило, они на раскинутых крыльях не падают, не летят, на месте держатся.

Тут-то взять дело просто. Я веревку накинул и всю стаю к дому потащил.

Дождь набежал. Я под уток стал и иду, будто под зонтиком. Меня вода не мочит, меня дождь не берет Дождь пробежал, солнышко припекло, я под утками иду — меня жаром не печет.

Дома утки отжились, ко двору пришлись. Для уток у меня во дворе пруд для купанья, двор да задворки для гулянья. Как замечу уткински сборы к полету-отлету, я оглушительно ружье покажу, утки хвосты прижмут, домашностью займутся Яйца несут, утят выводят.

Вскорости у всех уемских хозяек утки развелись. Всем веселы хлопоты, всем сыто.

Поп Сиволдай выбрал время, когда собаки Розки дома не было, пришел ко мне и замурлыкал таки речи:

— Я, Малина, не как други прочи, я не прошу у тебя ни уток, ни утят, дай ты мне ружья твоего, я сам на охоту пойду, скоре всех, больше всех разбогатею.

От попа скоро не отвяжешься — дал ему ружье.

Сиволдай с вечера на охоту пошел. Ружье ему не под силу нести, он ружье то в охапке, то волоком тащил. А к месту притащился вовремя и в пору.

На озере уток много, больше чем я словил. Пон Сиволдай ружьем поцелил и курок нажал, да ружье-то перевернулось, выпалило и оглушило.

Очень хорошо оглушило, только не уток, а Сиволдая! Попа подкинуло да на воду на спину бросило.

Поп не потоп, весь день по озеру плавал вверх животом.

Эко чудо увидали старухи-грибницы, ягодницы. Увидали и запричитали:

Охти, дело невиданно,
Дело неслыханно.
Плават поп поверху воды,
Он руками не махат,
Он ногами не болтат.

Большо диво, большо чудо!
Поп молчит.
Не поет, не читат,
У нас денег не выпрашиват.
Это сама больша удивительность!

С того дня стали озеро святым звать. Рыба в озере перевелась, утки па озеро садиться перестали. Озер у нас много. Мы на других охотимся, на других рыбу ловим.

А Сиволдай на воде отлежался, из озера выкарабкался. На охоту ходить потерял охоту.

ТЕРПЕНЬЕ ЛОПНУЛО

Наше крестьянско терпенье было долго, а и его не на всяк час хватало. Из терпенья-то мы выходили, да голыми руками не много наделашь. Начальство нас надоумило, само того не думая, оружье сделать. Надоумило на свою шею.

Богатеи да полицейски у нас в Уйме кирпичной завод поставили. Пока планы заводили, построение производили, нам заработки коробами сулили.

А нам лишь бы от начальства бывалошного подальше, заработки мы сами сыскать умели. Но начальству перечить не стали, да нашего согласья не порато и спрашивали.

Мы на планы смотрели с видом непонимающим, а что надобно нам — усмотрели. Для виду мы за заработками погнались.

Взялись мы всей Уймой трубу заводску смастерить. Сделали.

По виду труба — какой и быть надо, а по сущей сути это было ружье оглушительно, далекострельно. Ствол калибром не номер четыре, как у кума Митрия, не номер два, как у меня, а больше номера первого. Коли не знать, что под крышей есть, дак очень даже настояща заводска труба, и дым пущала.

Завод в ход пошел. Мы спины гнули, начальство да богатеи карманы набивали, .нас обдували.

Мы большим долгим терпеньем долго держались. Да не стерпели, лопнуло наше терпенье.

И дело-то произошло из-за никудышности — из-за репы, из-за брюквы пареной.

Наши хозяйки во все годы в рынке парену брюкву, репу продавали. В рынке не то что теперь — грязь была малопролазна. Для сбереженья товаров и самих себя мы в грязь поперечины бросили, доски постелили, горшки,

шайки с пареным товаром расставили и торгуем. Кому на грош, кому на полторы копейки.

Вдруг полицыместер на паре лошадей налетел. Полицейски с чиновниками с нас за все про все содрать успели. Для полицыместера у нас ничего не осталось. Мы и за карманы не беремся.

Увидал полицыместер, что мы не торопимся ему взятку собирать, и крик поднял. От егонной ругани ветер пошел — хошь овес вей.

Полицыместер раскипятился, зафыркал и скочил на доски, на самы концы. И забегал по доскам, запритоптывал.

Доски одна за одной концами вскидывают, горшки, шайки выкидывают. Пареной брюквой, пареной репой палить взялись, будто заправскими снарядами.

Наперьво полицыместеру и полицейским отворены глотки заткнуло, глаза захвостало-улепило. Вторым делом тем же ладом чиновникам прилетело, влетело. Горшки, шайки в окнах правлений рамы вышибли и ни одного ни чиновника, ни чиновничишка не обошли.

Простого народу не тронуло, зато в губернатора цельна шайка влипла.

Губернатор брюкву, репу прожевал, от брюквы, репы прочихался, духу вобрал и истошно закричал:

— Непочтительность! Взяток не дают! Не ту еду подают, каку мы хотим! Бунт!

И скорой минутой царю депешу послал, бегом бежать заставил.

У царских генералов ума палата, у царя самого больше того. Царь в ответ приказ строгий отписал:

«Арестовывать, расстреливать, ссылать. Усмирить в одночасье».

Это за брюкву-то, за репу-то!

Тут вот наша труба-ружье оглушительно нам и понадобилось.

Повернули мы в городску сторону, ружейну часть

примкнули. Всей деревней зарядили. Всей деревней выпалили.

Всех чиновников до одного, всех полицейских — начисто всех оглушило. Всякого на месте, как был, припечатало: что делал — за тем делом и оставило людям добрым напоказ, в поученье.

Мы в городу собрались гулянкой по этому случаю. Робят взяли зверинец из чиновников поглядеть.

И увидали мы, нагляделись, насмотрелись на чиновничьи дела, на ихну царску службу.

Оглушенные чиновники деревянными стояли, их хошь прямо смотри, хошь кругом обходи.

Ловко чиновники лапу в казну запускали, видать,— дело давно знакомо. Друг дружки в карманы залезали, друг дружки ножку подставляли. Умеючи взятки брали, с бедняков последню рубаху снимали. Насмотрелись мы на чиновников, кляузы строчащих и на нас ехидны бумаги сочиняющих. Заглянули мы в бумаги, а там для нас и силки, и капканы, и волчьи ямы, и всяки рогатки, всяки ловушки наготовлены.

Подумать только — на что чиновники ум свой тратили!

Дух от чиновников хуже крысиного. Мы окошки, двери настежь отворили для проветриванья.

Все награбленное добро отобрали, голодному люду роздали. Отобрали все из рук, из карманов, из столов, из шкапов. Добра, денег было много, и все чужо — не чиновничье.

Крючкотворными делами все печки во всем городе истопили.

Малы робята и те поняли, како тако у чиновников царских «законно основанье». Малы робята и те заговорили:

— Как так долго царска сила держится, коли законно основанье у ней воровство да полутовство?

Робята на выдумку мастера. Чиновников казенными печатями к месту, который где застат, припечатали.

Мы свое дело сделали, домой ушли.

Чиновники в себя пришли, увидели, что их секреты известны всему свету. Пробовали на нас снова шуметь. Да в нас уж страху нисколько не осталось, а кулаки-то сжались.

ГУСИ

Моя жона картошку копала. Крупну в погреб сыпала, мелку в избу таскала в корм телятам. Копала — торопилась, таскала — торопилась и от поля до избы мелкой картошки насыпала дорожку.

Время было гусиного лету. Увидали гуси картошку, сделали остановку для кормежки. По картошкиной дорожке один-по-один, один-по-один — все за вожаком дошли гуси до избы и в окошко один за одним — все за вожаком. Избу полнехоньку набили, до потолка. Которы гуси не попали, те в раму носами колотились, крылами толкались и захлопнули окошки.

Дом мой по переду два жилья: изба, для понятности сказать, кухня да горница. Мы с жоной в горнице сидим, шум слышим в избе, будто самовар кипит, пиво бродит и кто-то многоголосно корится, ворчит, ругается.

Двери толконули — не открываются. Это гуси своей теснотой приперли. Слышим: заскрипело, затрещало и охнуло.

Глянули в окошко и видим: изба с печкой, подпечком, с мелкой картошкой для телят с места сорвалась и полетела.

Это гуси крылами замахали и вызняли полдома жилого — избу.

Я из горницы выскочил, за избой вдогонку, веревку на трубу накинул, избу к колу привязал. Хошь от дому

и далеко, а все ближе, чем за морем. И гусей хватит на всю зиму ись.

Баба моя мечется, изводится, ногами в землю стучит, руками себя по бокам колотит, языком вертит:

— Еще чего не натворишь в безустальной выдумке? Како тако житье, коли печка от дому далеко? Как буду обряжаться? На ходьбу-беготню, на обряднюу меня ног не хватит!

Я бабу утихомирил коротким словом:

— Жона, гуси-то наши!

Жона остановилась столбом, а в голове ейной всяки мысли да хозяйственны соображения закружились. Баба рот захлопнула. Побежала к избе как так и надо, как по протоптанному пути. Гусей разбирать стала: которых на развод, которых сейчас жарить, варить, коптить. И выторапливается, кумушкам, соседкам по всей Уйме гусей уделят. За дело взялась, устали не знат, и дело скоро ладится: которо в печке печется, которо в руках кипит, жарится. Моя баба бегат от горницы до избы, от избы до горницы, со стороны глядеть — веревки вьет.

Вот и еда готова. Жона склала в фартук жареных гусей, горячи шаньги сверху теплом из печки прикрыла, в горницу притащила, на стол сунула, тепло вытряхнула. Приловчилась — в фартуке и другого всякого варенья, печенья наносила и тепла натаскала. В горнице тепло и не угарно. Тепло по дороге проветрилось, угар в сторону ушел.

Моя жона в удовольствии от хозяйничанья. Уемски бабы — тетки, сватьи, кумушки, соседки, жонины подруженьки — гусей жарят, варят, со своими мужиками едят, сидят — тоже довольны. У меня жилье надвое: изба от горницы на отлете, не как у всех, а по-особому,— и я доволен.

Все довольны, всем довольно, только попу Сиволдаю все мало. Надобно ему все захватить себе одному.

— Это дело и я могу,— кричит Сиволдай,— картошки у меня много с чужих огородов, мне старухи кучу наносили и на отбор мелкой.

Сиволдай насыпал картошки и к дверям, и к окошкам, и в избу, и в горницу, и на поветь; гуси не мешкали и по картофельным дорожкам через двери да в окошки полон дом набились.

Поп обрадел, двери затворил, окошки захлопнул. Поймал гусей. Гуси крылами замахали, поповский дом подняли. В доме-то попадья спяща была, громко храпела, проснуться не успела. Сиволдай за гусями жадно бросился. Про попадью вспомнил и заподскакивал.

— Да что это тако! Да покричите всем миром, чтобы гуси воротились, чтобы дом мне отдали и попадью вернули. Скажите гусям: я их отпущу. Вам, мужикам, гуси поверят. Кричите всем деревенским сходом.

Мы Сиволдаю проверку сделали.

— А ты, поп, гусей-то отпустишь, ежели дом с попадьей вернут тебе гуси?

— Да дурак я, что ли, чтобы столько добра мимо рук пустить? Вы только мне дом с гусями воротите!

Мы в поповски дела вмешиваться не стали. Мы-то разговоры говорим, а гуси в поповском дому летят да летят, их криком уже не остановишь. Сиволдаю и дома жалко, и попадью жалко — кого жальче, и сам не знат.

Запричитал поп, возгудел:

Последняя жона у попа,
И ту гуси с домом унесли.
Унесли-то в светлой горнице
С избой да еще с поветью.
Остался я без жоны один,
Заместо дому у меня баня да овин.
А и улетела моя попадья
В теплу сторону.
Как домой она воротится,
Да как начнет она бахвалиться:

«Я там-то была, то-то видела,
На гусях в дому перва ехала,
Ни с кем еще не бывало экого!»
Мне и дому жаль,
И жальче же всего,
Что побыват попадья дальше мово.
Снаряжусь-ко я за жоной в поход.
Ты гляди, удивляйся, честной народ.

Что задумал поп, с тем скоро справился. Выбрал место видное, просторное. Сел, приманкой для гусей приладил себя. В широки полы мелку картошку насыпал кучами, в руки взял четвертну с самогоном. Под парами самогонными легче лететь будет! Тетка Бутеня на голову попу самоварну трубу поставила, не пожалела для общего веселья и сказала:

— Это от всего моего усердья!

Сидит поп Сиволдай взабольшным лётным самогонным пароходом.

Спутья недолго ждал поп. Гуси картошку увидали, Сиволдая не приметили, за картофельну кучу посчитали, погоготали и порешили взять с собой запас кормовой. Ухватились гуси за длинны поповски полы и полетели.

Поп Сиволдай на гусях летит, самогон пьет. Гуси — народ тверезый, пьяного духу не любят, особливо самогонного, гуси Сиволдая бросили.

Поп шлепнулся в болото, там чавкнуло, брызги в стороны выкинуло. Поп сидит и шелохнуться боится, кабы в болото не угрузнуть. Сидит, завыват, людей созыват:

— Люди! Тащите меня из болота, покудова я глубоко не просел. Тащите скоре, пока у вас гуси не все съедены, я вам ись помогу, а которы не початы, тех себе про запас приберу, вас от хлопот ослобожу.

Наши бабы как причет затянули:

Ты бы, поп Сиволдай,
На чужо не зарился,

Мы бы тогда бы
Тебя бы, попа бы,
Вызволили.
Мы бы тогда бы
Тебя бы, попа бы,
Скоро вытащили,
А теперь, Сиволдай,
Ты в болото попал подходяще.
Кабы не твоя толщина, ширина,
Ты бы в болото ушел с головой.
Мы бы тогда бы
За тебя бы, попа бы,
В ответе не были.
Мы бы тогда бы
Тебя, бы попа бы,
Тут и оставили!

Вечером, близко к потемни, мужики выволокли Сиволдая на суху землю, чтобы за попа в ответе не быть.

Попадья и далеко бы, пожалуй, улетела, да во снах ись захотела. Глаза протерла, гусей увидала и ну их ловить. Разом кучу гусей ощипала, в печке жарить, варить стала.

Гуси со страху крыльями махать перестали. Дом лететь перестал, в город опустился да на ту улицу по которой архиерея на обед везли. Архиерейски лошади вздыбились, архиерейска карета опрокинулась, архиерея из кареты вытряхнуло. Архиерей на четвереньки стал, животом в землю уперся, ему самому и не вызняться. Попы и монахи думали: так и им стать надо, стали целым стадом кверху задом и запели монастырским распевом:

Что оно еси
Прилетело с небеси?
Спереду окошки,
Сбоку крыльцо,
Сзади поветь —
Машины нигде не углядеть!

Архиерей сердито вопросил:

— Что за чудеса без нашего дозволенья? Кто в дому

по небу летат, моих коней, моих прихлебателей стадо пугат?

Сиволдаиха в самолучше платье вынарядилась, на голову чепчик с бантом налепила, морду кирпичом натерла-нарумянила, с жареным гусем выскочила и тонким голоском, скорым говорком да с приседаньицем слова сыпать принялась:

— Ах, ваше архиерейство, ах, как я торопилась, ах, к тебе на поклон, как знаю я, что ты, ваше архиерейство, берешь и тестяным и печеным, ах, запасла гусей жареных, гусей вареных и живых не ощипанных полный дом. Полна и изба, и горница, и поветь — изволь сам поглядеть!

Архиерея на ноги поставили, и все стадо подняло головы.

— Ты, Сиволдаиха, забыла, что мне нельзя мясного вкушать?

— А ты, ваше архиерейство, ешь, как рыбку. Ах, и хлопочу-то я не за себя, а за попа Сиволдая, чтобы дал ты ему како ни на есть повышение да доходу прибавление.

Архиерей носом засопел и услыхал — жареным пахнет, дал согласье на Сиволдаихино прошение.

— Дозволяю твоему Сиволдаю с крестьян больше драть. От евонного доходу мне половина идет.

Попадья гусей припрятала, окошки занавесками задернула, архиерею дала одного жареного, одного вареного и пару живых. Двери замком закрыла. Сама Сиволдаиха к дому привязалась, вожжами по стенам захлопала, по повети ременкой стегонула. Гуси подняли дом и понесли.

Вернулась-таки попадья в нашу деревню. Ладилась приспособиться нам на головы сесть, да мы палками отмахались, прогнали на прежни стойки, на старо место.

Робята дернули попадью за подол, попадья ногами

лягнула и повернулась не в ту сторону, и сел поповский дом на старо место, передом в заднюю сторону, задом на улицу. По сю пору так стоит. Коли хошь, поди погляди.

А гусями поп с попадьей не пользовались. Нашим робятам до всего надо дознаться. Отворили окна да двери поглядеть, кака сила попадью в город носила. Гуси и улетели.

Моя отлетная изба всей Уйме на пользу была. Уемски хозяйки свои печки не топили, дров не изводили. Топили одну мою печку в моей отлетной избе, топили в очередь. Тепло охапками таскали по избам, в печке варили, жарили, парили, пекли кому что надобно — всем жару хватало.

Артельный горшок наварне кипит, артельна печка жарче грет.

В артельной печке тепло тако прочно было, что в холодну пору мы теплом обвертывались и ходили в одних рубахах на удивленье проезжающим.

Попробовал я теплом-жаром торговать. Привез на рынок жару-пару. Не успел остановить Карьку — налетели полицейски, чиновники у чужого добра руки погреть

— Что за товар, как продавашь, отмеривашь, отвешивашь али считашь, да каку цену берешь?

Вы, ваши полицейства, чиновничества, на теплых местах сидите, руки у чужого тепла нагреваете. Мой товар в самый раз про вас. Попробуйте нашего деревенского жару.

Развернул я воз с теплом из нашей общественной согласной печки и так «огрел» полицейских, чиновников, что они долго безвредными сидели. А мы, деревенск и городской простой народ в те поры отдохнули, штрафов не платили, денег накопили, обнов накупили

ПЕРЕПИЛИХА

— Глянь-ко на улицу. Вишь, Перепилиха идет? Сама перестарок, а идет фасонисто, как таракан по горячей печи. Голос у нее такой пронзительной силы, что страсть!

И с чего взялось? С медведя.

Пошла это Перепилиха (товды ее другомя звали) за ягодами. Ягода брусника спела, крупна. Перепилиха торопится, ягоды собират грабилкой.

Ты грабилку-то знашь? Така деревянна, сходна с ковшом, только долговата, с узорами по краям. У Перепилихи было бабкино придано.

Ну, ладно, собират Перепилиха ягоды и слышит: что-то трещит, кто-то пыхтит.

Голову подняла, а перед ней медведь, и тоже ягоды собират, и тоже торопится, рот набиват.

Перепилиха со всего голосу взвизгнула! И столь пронзительно, что медведя наскрозь проткнула и наповал убила голосом!

Над медведем еще долго визжала, верещала, боялась, кабы не ожил.

Взяла медведя за лапу и поволокла домой. И всю дорогу голосом верещала. И от того самого места, где медведя убила, и до самой Уймы просека стала. Больши и малы дерёва и кусты порубленными пали от Перепилихиного голосу.

Дома за мужа взялась и пилила, и пилила!

Зачем одну в лес пустил? Зачем в эку опасность толконул? Зачем не помог медведя волокчи?

Муж Перепилихин и рта открыть не успел.

Перепилиха его перепилила. В мужике сквозна дыра засветилась.

Доктор осмотрел и сказал: «Кабы в сторону на вершок, и сердце прошибла бы!»

Жить доктор дозволил, только велел сделать деревянну пробку. Пробку сделали. Так с пробкой и ходит мужик. Пробку вынет, через дырку дух пойдет сквозной и заиграт музыкой приятной. Перепилихин муж изловчился: пробку открыват да закрыват — плясова музыка выходит. Его на свадьбы зовут заместо гармониста.

А Перепилиха с той поры в силу вошла. Ей перечить никто не моги.

Она перво-наперво ум отобьет, опосля того голосом всего исщиплет, прицарапат.

Мы выторапливались уши заткнуть. Коли ухом не воймуем, на нас голос Перепилихи и силы не имет.

Одиновы видим: куры, собаки, кошки всполошились, кто куда удират. Ну, нам понятно — это значит, Перепилиха истошным голосом заверещала.

Перепилиху, вишь, кто-то в деревне Жаровихе обругал, али в гостях не назвали самолучшей гостьюшкой. Перепилиха отругиваться собралась, а для проминанья голоса у нас в Уйме силу пробует.

Мы ённу повадку вызнали. Сейчас уши закрыли кто чем попало. Кто сковородками, кто горшком, а моей жоны бабка ушатом накрылась. Попадья перину на голову вздыбила, одеялом повязалась и мимо Перепилихи павой проплыла, подолом пыль пустила. Уши затворены — и вся ересь голосова нипочём.

Перепилиха со всей злостью крутнулась на Жаровиху.

А жаровихинцы уж приготовились. Двери, окошки затворили накрепко, уши позатыкали. Дома, которы не крашены, наскоро мелом вымазали — на крашено Перепилихин голос силы не имет.

Вот Перепилиха по деревне скется, изводится, а все безо всякого толку.

Жаровихински жонки из окошек всяки ругательны рожи корчат.

Увидала Перепилиха один дом некращеной, к тому дому подскочила — от дома враз щепки полетели!

Жил в том дому мужичонко по прозвищу Опара. Житьишко у Опары маловытпо, домишко чуть на ногах стоит. Опара придумал на крышу ушат с водой затащить, водой и чохнул на Перепилиху цельным ушатом.

Перепилиха смокла и силу голосову потеряла.

Жаровихински жонки выскочили, а в ругани они порато наторели. И взялись Перепилиху отругивать и за старо, и за ново, и за сколько лет вперед!

Про воду мы в соображенье взяли. Стали Перепилиху водой утихомиривать, а коли в гости придет — мы ковшик с водой перед носом поставим, чтобы голосу своему меру знала.

Перепилиху мы и на общественну пользу приспособлям: как чищемину задумам, Перепилиху посылам дерёва да кусты голосом рубить.

ПИРОГ С ЗУБАТКОЙ

Послушай, кака оказия с Перепилихой приключилась.

Завела Перепилиха стряпню, растворила квашню, да разбухала больше меры.

Квашню на печку поставила, а сама возле печи спать повалилась. Спят: муж Перепилихи на полатях, Перепилиха на полу выхрапыват, вроде как носом сказку говорит.

Слышит Перепилихин муж, ровно кто босыми ногами по избе шлепат. Глянул с полатей: квашня-то пошла, тесто через край да на Перепилиху валит. Перепилиха только во снах причмокиват да поворачиватся.

Перепилихин муж обряжаться стал скорым делом: печку затопил, жопу посолил, тестом обтяпал, маслом смазал да в печку.

Испек-таки пирог!

Нас, мужиков, скликать стал к себе в гости:

— Кумовьё, сватовьё, други-соседи! Покорно прошу ко мне в гости, моей стряпни, моего печенья ись! Испек я пирог с зубаткой, приходите скоре, пока горячность из пирога не ушла!

Мы думам: кака така горячность? Ежели и простынет пирог малость, то горячим запьем. Сами поторапливаемся.

Сам знашь, не в частом быванье мужикову стряпню ись доводится. В Перепилихину избу явились, как по приказу — все сразу.

Ну и пирожище! Отродясь такого не видывали! Со всех сторон шире стола, и толстяшшой, и румяняшшой, просто загляденье, а не пирог!

Мы к нему и присватались. Бороды в сторону отворотили с помешки. И как следоват быть, по заведенному у нас обычаю, у рыбника верхню корку срезали, подняли.

А в пироге — Перепилиха!

Запотягивалась и говорит:

— Ах, как я тепло выспалась!

Что тут стало — и говорить не стану!

Опосля того разу я не только к большим пирогам, а к маленьким с опаской подходил!

Мужа Перепилихиного мы через пять дён увидали. Висит на плетню, сохнет. Мы его не сразу и признали. Думали — какой проходящой так измочен, так измочален! Это все Перепилиха: где бы с поклоном мужику благодаренье сказать за тёпло спанье в пироге, а она его в горячей воде вымочила да им-то, мужиком-то своим, всю избу вымыла, вышоркала и приговаривала:

— После твоих гостей для моих гостей избу мою!

День и ночь висел Перепилихин муж на плетне. На другой день Перепилиха его сняла, палками выкатала, утю-

гом горячим выгладила и послала нас потчевать корками от пирога.

Мы попробовали, а ись не стали — уж очень Перепилихой пахло, и злость Перепилихина на зубах хрустела.

НА ТРЕСКЕ ГУЛЯЛИ

Был у нас капитан один, звали его Пуля. Рассказывал как-то Пуля:

— Иду мимо Мурмана. Лежу в каюте у себя. Машина постукиват исправно, как ей полагается, а чую, нет ходу. Вышел на мостик, глянул — стоим!

— Что за оказия?

Посмотрел на корму, а от винта широченным кругом треска глушенна вскидывается, взблескиват серебром. Винт колотит, рыбинами брызжет. А пароход — на месте! Мы на треску наехали.

Матросы пристали ко мне, канючат:

— Дозволь, капитан, рыбу взять. Столько добра задаром пропадат! И трюмы у нас пусты!

Ну, ладно, позволил. Пароход полнехонек набрали. Сами зиму ели да приятелям раздавали в угощенье.

* * *

Да что Пуля! Я вот сам на лодчонке выскочил в океан (тоже на Мурмане дело было), от артели поотстал да вздремнул и сон такой ладный завидел, да лодка со всего ходу застопорила разом. Я чуть за борт не вытряхнулся!

Протер глаза — я со всего парусного да поветренного ходу на косяк трески налетел.

В беспокойство не вошел: не к чему себя тревожить. Оглядел косяк, глазами смерил — вышло на много кило-

метров длиной, палкой толщину узнал — вышло двадцать пять метров. Дело подходяще: ехать можно.

А на тресковой косяк лесу всякого нанесло. Смастерил избушку, развел огонь, сварил уху. Рыба тут. На рыбе еду, рыбу варю. Поел — поспал, поел — поспал. Меня треска и кормит и везет.

Пора бы к дому сворачивать. А весь косяк хвостом мотнул да на север повернул. И понеслись мы мимо Новой Земли, в океан Ледовитой.

На стречных льдинах знаки ставил алыми платочками, что жоне с Мурмана вез. Погулял и домой пора.

Высмотрел вожака-рыбу — накинул узду. И так ладно вышло! Правлю, куда надо, весь косяк вожжой поворачиваю. К дому свернул. Шибче парохода шел.

В городе у рыбной пристани углом пристал. Пристал и почал торговать свежей треской: на что свеже — жива в воде.

Продавал дешевле богатеев-рыбаков. Покупатели ко мне валом валили.

Смотрящи, лицезрящи на берегу столпились. Всем антиресно поглядеть на тресковый косяк.

Я пущал гулять по треске. Малых робят с учительшами пущал задарма, а с других жителей по копейке брал.

— Да ты, гость разлюбезный, кушай, ешь треску-то! Из того самого стада, на котором я ехал, только уж не обессудь — посолена.

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ПОЛЮСНОЙ

Я тебе не все еще обсказал, что в море было.

Знаки-то я поставил, ветер платки полощет. Платок алый, что огонь взблескиват, что голос громкий песню вскрикиват.

Когда еще кто увидит его, а медведь заприметил — да ко мне. А у меня не то что ружья, а и ружьишка завалящего нет никакого. Одначе, варю себе треску, ем и в ус не дую.

Медведь наскочил на косяк, лапами хватат, а рыба в воде склизка. С краю за рыбий косяк ни в жизнь не ухватиться!

Сам-то я сижу на середке: мне что, а ты достань!

Медведь с ярости начал рыбу жрать, столько нажрал, что брюхо полнехонько и одна рыбина в зубах застряла.

Я медведя веревкой достал и шкуру снял.

Погодь, сейчас покажу, сам увидишь, что медведь полюсной, шкура большаща, шерсть длинняща. Жона из шерсти всяко вязанье наделала. И тако носко чем больше носишь, тем нове становится.

Дакося привстану да шкуру достану, чтобы ты не думал, что все это я придумал.

Ох, незадача кака! Ведь я запамятовал, что шкуру-то губернаторский чиновник отобрал. Увидел у меня. Я шкурой зимой дом закутывал: так и жили в теплой избе и топили саму малость, только для варева да для печенья. Теплынь была под шкурой!

Пристал чиновник:

— Не отдашь — в Сибирь!

Взял я шкуру полюсного медведя, шерсть снял, вот тут-то моя баба и взялась за пряжу. Кожа была мягка, толста, я и ее содрал. Шкуру без шерсти да без кожи (что осталось — и сам не знаю) свернул и отдал чиновнику, сказал, что так сделал нарошно, чтобы везти было легче. Чиновники в ту пору понимания настоящего не имели, только грабить ловко умели.

ЧАЙКИ ОДОЛЕЛИ

Вот чайки тоже одолевали меня, ковды я на треске ехал.

Треска — рыба деловитая, идет своим путем за своим делом, в сторону не вертит. А чайки на готово и рады.

Ну, я чаек наловил столько, что в городу куча чаек на моем рыбном косяке выше домов была.

В городу приезжим да чиновникам заместо гусей продавал. Жалованьишко чиновничье — считана копейка. Форсу хошь отбавляй — и норовили подешевле купить. Как назвал чаек гусями да пустил подешевле — вмиг раскупили. А мне что? Кабы настоящи рабочи люди, совестно стало бы. Чиновникам надо было, чтобы на разговоре было важно да форсисто, а суть как хошь. Чаек, гусями названных, за гусей ели и гостей потчевали. У чиновников настояще пониманье форсом было загорожено.

ТРЮМ

В прежние времена нам в согласьи жить не давали. Чтобы ладу не было, дак деревню на деревню науськивали.

Всяки прозвища смешны давали, а другоряд и срамно скажут.

А коли деревня больша, то верхний с нижним концом стравливали, а потом и штрафовали.

Ну, вот было одного разу. Шли мы на пароходе с Мурмана, там весновали товды и летовали. Народ был разноместной.

Заговорили да заспорили — чья сторона лучше.

Одни кричат, что ихны девки голосистей всех. Ихных девок никаким не перевизжать.

Други шумят, что ихны девки толще всех одеваются.

Сарафаны в подоле по восемнадцати аршин, а нижних юбок по двадцати насдевывают.

Третьи орут, что у ихних хозяек шаньги мягче всех, колобы жирней, пироги скусней.

Слов аж не хватат, криком берут. Силился я утихомирить старым словом:

— Полноте, робята, горланить. Всяка сосенка о своем боре шумит!

Да где тут! Им как вожжа под хвост попала.

— У нас да у нас!..

— У нас бороды гуще да длинней. У нас в старостиной бороде медведьползимы спал, на него облаву делали!

— А наши жонки ядреней всех!

— А вашу деревню так-то прозывают...

— Ах, нашу деревню? Нашу деревню! А про вашу деревню...

И пошло. До того доспорили, что в одном месте ехать не захотели. Кричат:

— Выворачивай каюты, поедем всяк своей деревней!

Только трескоток пошел. Мы, уемски, трюм отцепили да в нем домой и приехали.

Потом пароходски спохватились, по деревням ездили, каюты отбирали. К нам за трюмом сунулись. А мы трюм под обчественну пивоварню приспособили. Для незаметности трюм грязью да хламом залепили.

В этом-то трюму мы сколько зим от баб спасались. И пьем и песни поем — и хорошо.

АРТЕЛЬЮ РАБОТАЛ, ОДИН ЗА СТОЛ САДИЛСЯ

Вот я в двух гостях гостил, надвое разорвался. На двое — дело просто. Меня раз на артель расщепало!

Ехал я на поезде, домой торопился. Стоял на площадке

вагона и поезду помогал — ходу подбавлял: на месте подскакивал, ногами отталкивался.

На крутом завороте меня из вагона выкинуло. Вылетел я да за вагон пуговицей зацепился. Моя жона крепко пуговицу пришила, ённо старанье хорошу службу сослужило.

Я боялся, что меня за каку-нибудь железнодорожность зацепит и растянет, а вышло иначе. Начало меня подбрасывать да мной побрякивать. Где брякнет — так и останусь, там и стою, остановки поезда дожидаюсь.

Я по дороге у железной дороги частоколом стал. Сам стою, сам себя считаю, а сколько станций, полустанков, разъездов сам собой частой вехой обвешил — и не сосчитал.

Вот машина просвистела, попыхтела и остановилась. Дальше нашего края ехать некуда. Коли снизу добираться, то тут конец, коли от нас ехать, то начало.

Я пуговицу от вагона отцепил. Домой пошел большой толпой, и все я, иду, песню хором пою.

В Уйме думали: плотники новы дома ставить пришли али глинотопы на кирпичный завод.

Я артельно ближе подошел. Люди с диву охнули.

— Охти, гляди ты! Сколько народу, и все — как один Малина! Ну, исто капаны! И до чего схожи — хошь с боку, хошь с рожи. И как теперича Малиниха мужа распознат? Эка орава — и все на один лад: и ростом, и цветом, и выступью. Которой взаправдашной — как вызнать?

У моей жоны слова готовы:

— Который на работу ловче и на слово бойче, тот и муж мне. Мой-то Малина работник примерный!

Я на жонино слово поддался и всеми частями за работу взялся. В поле и на огороде работаю, поветь починяю, огород горожу, мельницу чиню, дом заново крашу, в лесу дрова запасаю, рыбу ловлю, бабе к новой юбке оподолье

вышиваю, хлеб молочу, пряжу кручу, веревки вью. И все зараз, и на все горазд!

За работу взялся в послеобеденно время, а к паужне все сготовлено, все сроблено.

Баба моя ходит и любуется, а не может вызнать, который я — настоящий я. Я на всех работах в десять рук работаю.

Вызнялась жона на поветь, будто на работу поглядеть, и метнула громким зовом:

— Малина, муженек! Поди за стол садись, пришла пора ись!

Я к еде двинулся и весь в одного сдвинулся.

В тех местах, где я стоял у железной дороги, там выросли малиновы кусты и по сю пору растут. Ягоды крупны, сочны, скусны.

Я худого не выдумываю, а норовлю, чтобы хорошим людям всем хватило да любо было.

КАБАТЧИХА НАРЯДИЛАСЬ

Кабатчиха у нас в деревне была богаче всех и хвастунья больше всех. Нарядов у кабатчихи на пол-Уймы хватило бы.

В большой праздник это было. Вся деревня по улице гулянкой шла. Все наряжены, кто как смог, кто как сумел.

И кабатчиха выдвинула себя. И так себя вырядила, что народ столбами становился: на кабатчиху глядит, глаза протирают, глаза проверяют, так ли видится, как есть?

Такой нарядности мы до той поры не видывали.

Напялила кабатчиха на себя платье само широко с бантами, с лентами, с оборками, со вставками, с трахмалеными кружевами.

Оделась широко. А кабатчихе все мало кажет. Нарядов много, охота всеми похвастать. Попробовала она комоду

с нарядами и шкап платяной на себя взвалить, да силы не хватило тащить.

Придумала-таки кабатчиха, как народ удивить. Себе на бок по пятнадцать платьев нацепила для показу нарядностей запаса.

На голову надела медной таз для варки варенья. Оно верно: посудина у нас в деревне редкостна — пожалуй, всего одна.

Медной таз ручкой вперед, малость набок. На таз большой цветошник с живыми розанами поставила, шелковой шалью подвязала.

Под мышкой у кабатчихи охапка зонтиков и нарусолей.

Это еще не все. Перед самым праздником кабатчик привез из городу больши часы стенны. Часы с боем, с большим маятником. Народ этой обновы еще не видал, еще не знал.

Кабатчиха и часы на себя налепила. Спереди повесила. Идет и завод вертит, на громкой бой заводит.

Маятник из стороны в сторону размахиват. Народ увертыватся, едва успеват отскакивать.

Пришла пора часам бить. Зашипело. Мы думали, кабатчиха на горячу сковороду села. Шипит громко, а пару не видать, и жареным не пахнет.

Часы отшипели и ударили бой частым громким звоном, в один колокол и на всю Уйму.

Как сполох ударили.

Вольнопожарны услыхали, мешкать не стали, вытащили вольнопожарну машину с двенадцатью рукавами. В кабатчиху воду стеной пустили из двенадцати рукавов.

Раз бьют сполох — значит, заливай.

Кабатчиха зонтики, парусоли растопырила, от воды загородилась, домой идти поворотилась. Она бы еще погуляла, да наряды носить на своих больших телесах устала и промялась, есть захотела.

Часы все еще бьют, вольнопожарна машина воду из двенадцати рукавов все еще льет.

Перед кабатчихой разлилась лужа большашша, широчашша, глубочашша — во всю ширину улицы. Лужу не обойти, не перескочить.

Робята догадались, лодку притащили, перевоз устроили. Цену брали по копейке с человека.

Кабатчиха, чтобы маятнику не мешать, мелкими шажками шла, к перевозу пришагала:

— Везите меня на ту сторону, мне-ка обедать пора!

Робята ей и говорят:

— С тебя, богачихи, копейки одной мало, плати по грошу с пуда. Как раз гривенник и будет.

Кабатчиха носом дернула, медным тазом на голове блеснула, розанами живыми махнула:

Я с мелкими деньгами не знаюсь. У меня деньги только крупны, сама мелка монета рупь. Сдачи давайте четыре двоегривенных и один гривенник. И сдачу за мной несите до дому, как я мелких денег в руки не беру.

Где робятам эстолько сдачи набрать?

— Хошь, дак садись за весь целковой, а не хошь - жди, ковда лужа высохнет!

У кабатчихи от злости волненье произошло, от голоду в животе заурчало. Отдала рупь.

Тут поп Сиволдай, как по сговору, как по заказу явился. От праздничных сборов-доходов поповска широка одежа, как амбар, раздулась: карманы, как чемоданы. Поп руки вóздел и запел:

Вот как я вовремя, в пору поспел,—
Как в иголку вдел!
Кабатчиху за рунь везите,
За тот же рупь
И меня перевезите!

Сиволдай с кабатчихой в лодку разом сели. Лодка булькнула и на дно ушла.

В большой праздник, да посередке деревни, да при всем честном народе поп да кабатчиха в лужу сели.

Сели от тяжести богатства, которо на них.

Сиволдай руками, ногами воду бурлит, вода через край пошла. Часы маятником размахивают, воду выплескивают. Вода вскорости вся ушла.

На улице только мокро, грязно место, а в нем Сиволдай с кабатчихой сидят, на два голоса кричат, чтобы их вызняли.

Мы бы и вызняли, да об попа, об кабатчиху свои одежи пачкать пожалели.

Крик полицейски услыхали, прибежали. Поглядели, обрадели.

С кабатчихи часы стащили, все наряды скрутили, себе под мундиры накрутили. У попа евонны доходы, праздничны сборы отобрали.

Попа с кабатчихой из лужи подняли, домой увели, грязный след замели.

Ну, это дело ихно, полицейско, нам оно постороннe.

КАБАТЧИК ЛОПНУЛ

Был у нас в Уйме кабатчик. С виду он как бы и никого не трогал, никого не неволил, а народ сам удержу не знал — все пропивали, все кабатчику отдавали.

Кабатчик сидел да ел и ел за всю Уйму. Мы свое добро пропивам — тощам, а кабатчик и толстел и толстеть стал сверх меры, его как изнутри раздуват.

Рубаха на кабатчике надулась и лопнула. Кабатчикова жона заплату вставила — половик да два одеяла. Кабатчик не останавливается — толстет и вдоль и поперек — заплата треснула! Кабатчиха едва успела из горницы выскочить, едва успела вещишки выкинуть.

Кабатчик раздулся во всю горницу, всей своей толщиной в стены уперся и вопит — просит выручить.

Мы взяли топоры, горницу из-под крыши вырубили. Дом так и остался с пустым передом стоять. Кабатчик из-под крыши выскочил, в четырехстенности, как в особенной одеже, с форсом пошел.

Как раз в тот раз в церкви в колокола зазвонили. Кабатчик-то церковным старостой был,— как звон услыхал, с места сшевелился и покатился в четырехстенности в церковь. Со стороны глядеть — как в карете едет, только лошадей не видно.

В церкви поп орет, народ зовет, службу ведет, деньги собират.

Выручку считать старостино дело, и для кабатчика само разлюбезно дело. Бросился староста-кабатчик в церковь, да дверь узка.

Вот зла обида кабатчику, что до церковной выручки добраться не может!

В каку дверь горницей войдешь? Кабатчик домой себя прикатил и к себе на переднюю стену прилавок приладил, водки наставил, закуски собрал; опять к церкви прибежал и давай народ из церкви вызывать, к себе подзывать, гаркнул по-дьяконски:

Око-ло по-мо-лимся!
Ко мне подходите,
Деньги платите,
Водку берите,
Пейте, выпивайте.

И дале на манер дьячка словами забрякал:

Я распивочной кабак,
самодвижной кабак,
самоходной кабак,
деньги платите,
куда хошь зовите!

Мужики про водку возглас услыхали и из церкви вон, кабатчику подмигнули и за колокольну увернули, от бабьих глаз подале. Кабак за мужиками туда же ушагал.

Собрали мужики деньги на построение сороковки, а потом и четвертной и начали великой празничной пропой.

Главно гулянье было за рекой, мы туда на лодках переправились. Под кабатчика с избой заместо одежи все лодки были малы. Кабатчик с горы скатился, на воду плюхнулся, ножками заперебирал, как пароход колесной. Да дунул ветерок! И понесло кабатчика вниз по реки.

Наши робята не опозднились, песню запели:

Пароход идет на низ,
Пароходу кланялись,
Пароходски склянки с водкой
Очень нам понравились!

Кабатчик плывет, стаканчиками с бутылкаминазванниват, тарелками побрякиват, народ соблазнят, к себе подзыват, стречным лодкам выпеват:

Ко мне, к кабаку пловучему,
Подплывайте кучею,
Водку выпивайте,
Деньги давайте!

Столько лодок к пловучему кабатчику причалило, что будь река поуже — пароходам проходу не было бы. Река-то широка, да против города мель есть. Кабатчик со всеми лодками на мель и налетел. Кто в лодках ехал без денег, те на мели и осели. А кабатчик деньги собрал, мель пробежал, по глубокой воды дальше плывет, поет.

С судоремонтного заводу его окликнули:

— Эй, бревенчато брюхо, приворачивай! Мы тебя железными обручами обобьем да водочки за твой счет попьем.

Кабатчик свою линию ведет:

Деньги принесите,
Товда и водки просите,
А задарма не взыщите!

Кабатчик ручкой помахал и дальше промахал, его поветерью в море вынесло. В море воздух пользительной, кабатчика опять раздувать стало. Стены не выдержали их по бревнышку разнесло. Кабатчика разорвало, бутылки разбило вдребезги, раскидало во все стороны. Пьяна буря на неделю поднялась.

А мы проспались, опамятовались, лишно пить перестали, в себя приходить стали.

ГРОМКА МОДА

Сидел я на угоре над рекой, песню плел, река мимо бежала, журчала, мне помогала. Мы с рекой в ладу, в согласье живем. Песню плету, узоры песенны выплетаю.

Вдруг вывернулся пароходишко прогулочный: городских гуляк возит для проветриванья. Пароходишко свистком скрипучим, визжачим меня с песни сбил, я на тот час песню потерял.

Я рассердился, бечевкой размахнулся, свисток сорвал, тряпкой укутал, его и не слышно.

Прихожу домой, а у нас франтиха-модница в гостях сидит. Из городу приперлась, чай пьет. Гостья локти расставила и с особенным модным фасоном чашку в двух перстах едва держит и чай выфыркиват.

От своей нарядности вся приважничалась. И зовет меня:

— Присядь со мной рядышком, песенной выдумщик!

— От сижанки я на ногах постою.

С ней, модницей-франтихой, рядом не очень сядешь така она широка. Кофта вся в оборках, рукава пузырями и с кружевами, кружева натопорщены, то ли на трахмале, то ли на густом клею держатся. А юбка двадцать три метра в подоле. Эка модность никудышна, не по моему ндраву.

Я сзаду подошел и под кофтенны оборки, в юбошны

складки свисток визжачий прицепил, тряпицу сдернул, сам отскочил.

У модницы как засвистело.

— Извините, мне недосужно боле в гостях сидеть, у меня в середке како-то расстройство, я к фершалу побегу.

Бежит франтиха по деревне, пыль разметат, кур пугат, а свисток на ходу еще звонче вывизгиват. Собаки за франтихой с лаем пустились, ее бежать подгоняют, мимо фершала прогнали.

Модница-франтиха до самого городу юбкой по дороге шмыгала, пыль столбом вздымала!

В городу шагу сбавила, ради важности двадцатитрехметровой юбкой вертит, а свисток враскачку да с дребезгом завизжал. Во всех домах отдалось!

Городски франтихи-модницы в окна выпялились!

— Что оно тако? Откудова экой фасон! И как прозыватся?

Модница в свистячей-визжачей юбке идет вперевалку, губки бантиком сложила и чуть-чуть выговорила:

— Это сама нова загранична мода и прозывается «музыкально гулянье».

Что тут в городу повелось!

Модницы широки юбки напялили и под юбки гранофоны приладили, под юбки девчонок услужающих посадили. Девчонки гранофонны ручки вертят, пластинки гранофонны перевертывают, гранофоны все в разноголосицу. У которых под юбкой девчонки на гармони играют-нажаривают, а у которых в бубны бьют. У кого услужающей девчонки нету али гранофон не припасен, те взяли будильники, и на долгий звон завели, и под юбки дюжинами привесили.

Протопопиха малой колокол с соборной колокольни стащила, подвесила под юбку, идет, каблуками вызва-

ниват, пнет в колокол — он и откликнется из-под подолу. Очень *звонко, громко*!

Жители городски едва не оглохли от екого музыкального гулянья.

Начальство скоропалительно собралось и особым указом, строгим приказом громку моду запретило.

Все угомонились. Во всех концах стихло. Только у модницы-франтихи свистит и свистит без передыху! Модница и так и сяк старается свист унять: на тумбу сядет — свистит, к забору прижмет себя — свистит!

Модница ко мне в Уйму рванулась. А по берегу нельзя — в кутузку заберут, она в лодку скочила и во всей модной нарядности часов пять веслами шлепала. Ко мне добралась уж на ночь глядя. Добралась и давай упросом просить помочь ей против свисту.

Как не помогчи, я завсегда помочь готов.

— Скидывай, кума, юбку, я перестрою на нову моду.

Модница юбку сняла. Я свисток отцепил, в тряпку укутал, его опять не слышно. От юбки я двадцать два с половиной метра отхватил, на портянки нам, мужикам, франтихе оставил полметра.

На другой день франтиха нову моду завела. По городу в узкой юбке молчком пошла, юбка вся как рукав, модница ногами чуть переставлят, щеки надула напоказ, мол, коли юбкой узка, так с лица широка.

Городски модницы сейчас же увидали. Как им отстать?

В узки юбки ноги кое-как втолкнули, ногами засеменили. А не знали, что щеки надо надуть — полные рты воды набрали: им и тошно, и дых сперло, и перешепнуться нельзя, ведь рты-то водой полны.

На модниц сам полицмейстер наскочил, саблей забренчал, ногами застучал:

— По какому случаю ходите да молчите, како дело умышляете?

Модницы фыркнули на полицмейстера, его водой всего обмочили.

— Мы из-за тебя из себя воду выпустили, из-за тебя модный фасон потеряли! Коли громку моду нельзя носить, так тихомолком ходить нельзя запретить!

Полицмейстера модницы оглушили, ум отбили, а ума и было-то мало. Вышел новый приказ:

— Моду, окромя громкой, каку хошь одевайте, только ртов не открывайте.

Ты думаешь, я все это выдумал, что такого и не было?

Посмотри на старопрежних картинках, в прежних журналах, увидишь, каки широки юбки носили. Под юбками малы ребятишки хороводы водили. На других картинках юбки шириной с рукав, по ровному месту шли, а как приступка — и ни с места! На лестницы модниц на руках подымали.

МОДНИЦА

Приходит в магазин модница. Вся гнется, ковыляется — нарядну походку выделыват. Руки раскинула, пальчики растопырила.

Говорить почала, и голосок тоже вывертыват, то сквозь нос, то сквозь зубы, то голос как на каблуки вздынет.

Модница хочет показать, что всегда по-иностранному разговариват, по-русскому только понимат, и то не в большу силу, и вся она почти иностранка. А сама модница только по-русскому выворачиват, а ежели ругаться хватится, так всяко носово и горлово придыханье в сторону кинет и своим настоящим голосом как в барабан ударит! Кого хошь переругат, да не то что одного — весь рынок переругивала!

Так вот пришла модница, фасонность и ногами, и

руками, и всем телом проделала, головой по-особенному мотнула, глазами сначала под лоб завела, потом кругом повела и завыговаривала:

— Ах, ах, ах! Надобно мне-ка материи на платье! И самой модной-размодной! Чтобы ни у кого не было модней мого! Чтобы была сама распоследня мода!

Приказчик кренделем изогнулся, руки фертом растопырил, ноги колесом закрутил и тоже в нос да с завы ванием залопотал под стать моднице:

— Да-с, у нас для вас есть в аккурат то, что вам желательно-с!

Дернул приказчик с верхной полки кусок материи, весь пыльной, о прилавок шлепнул — пыль тучей поднялась. А приказчик развернул материю, моднице опомниться не дает:

— Вот-с, как раз для вас, пожалте-с, сорт особенной поол-коо-тьер-с!

Модница от пыли платочком заотмахивалась, даже нос заткнула, на материю и прямо и сбоку поглядела, руками пощупала, ей и не очень нравится, а коли модная материя, то что будешь делать?

— А отчего эки пятна на материи?

— Это цвет ле-жаа-нтьин-с! К вашей личности особенно очень подходящий. Извольте примерить, к себе приставить. Ах, как пристало! Даже убирать неохота, так к вам подошло!

Модница очень довольна, что сыскала особенну модну материю.

— А кака отделка к этому поол-коо-тьеру цвета ле-жаа-нтьин?

Приказчик вытащил из-за прилавка обрывки старых кружев, которыми пыль вытирали. Голос выгнул так, что и сам поверил своему уменью говорить на иностранный манер:

— Для этой материи и только для вас, другим и не

показывам, вот-с, извольте-с, отделка-с, проо-ваас-дуу-р!

И что бы вы думали?

Купила-таки модница материю полкотер цвета лежантин с отделкой про вас, дур...

СЛАДКО ЖИТЬЕ

Посереди зимы это было. И снег, и мороз, и сугробы — все на своем месте. Мороз не так, чтобы большой, не на сто градусов, врать не буду, а всего на пятьдесят. Я лесом брел. От жоны ушел. Моя жона говорлива, к ней постоянно гости с разговорами, с новостями, с пересудами — я и ушел в лес, от бабьего гомону голову проветрить.

Иду, снегом поскрипываю, а мороз по лесу посту киват.

Гляжу — пчелы!

Ох ты — пчелы? И живы, и летают! Покажется это пчелка, холоду хватит да в туман и спрячет себя.

Кабы я от кума шел, ну, тогда дело просто — с пива хмельного в глазах всяка удивительность место находит. Кабы я из полицейской кутузки был выпущен, тогда бы и память, и пониманье были бы отшиблены. А я в настоящем полном своем виде, во всем порядке.

Я к ним, к пчелкам, и шагнул. В туман стукнулся. От тумана на меня сладким теплом пахнуло-дохнуло. Нюхнул — пахнет медом, пряниками, лампасьем хорошим.

Я шагнул в туман, а он подается, а не раздается, в себя не пущат. Хотел напролом проскочить, напором взять, а туман тугой — держится тихо-тихо, а вытолкнул меня вобратно на холод.

А пчелки трудящи шмыгают в тумане, похоже, зовут к себе в гости. Надо, думаю, пчелкам слово сказать, а туман

сладостью конфетной мне рот набил. Я прожевал — оченно даже приятно. К чаю это подходяще. Стал топором туман рубить.

Прорубил ход в сладком тумане, протолкал себя на ту сторону. И попал на сладки воды, на те самы, которы в нашей холодности хранили себя.

Стою в ласковом тепле. Вижу, озерко лежит в зеленой травке, на травке цветочки разны покачиваются, леденцовыми колокольчиками позванивают.

Берег озерка усыпан разноцветным лампасьем. Озерко гладку волну вздымет на берег, новы пригоршни лампасья кинет, у берега пена спенится, сахаром на берегу останется.

Пчелки кругами носятся, золоты узоры ткут, на воду чуть присядут и с медовым грузом к берегу. На берегу мед ровными стопками. Кажна стопка тройке воз, если мерить на увоз.

Хлебнул воду для испытания. Вода теплая, сладкая. И все место из-за тумана никакому полицейскому не пронюхать. Спрятано хорошо.

А кругом дела делаются. От моего прихода тепла прибавилось. Мед на берегу заподтаивал и потек на воду, с сахарной пеной тестом замесился и готовым пряником двинулся.

Я посторонился, туман раздвинулся. Пряники широчащи, длиннящи двинулись по моим следам. Пчелки трудящи, работящи на пряниках медом-сахаром письменно-печатно узорочье вывели. Лампасье под пряники для колесного ходу рассыпалось и к нам в деревню, к моему двору, вместях с пряниками прикатилось.

Надо сладко добро от захватчиков спрятать и по дороге прикрыть. Я туман прихватил за край и растянул занавеской на весь путь пряникам, прикрыл и с той и с другой стороны.

Через туман не видно пряников самоидущих, скрозь

туман без особой сноровки не проскочишь. Дело хороше, большо и никому не известно.

Будь пряники ростом с воротину, просто бы их по поветям под навесами, по амбарам спрятать от жадных глаз, от грабительских лап. Пряники шириной с улицу!

А пряники идут и идут. Мы их на ребро да к дому. Пряники во всю стену. Мы домы пряниками обставили, Крыши пряниками накрыли. В пряниках окошки прорубили. У пряничных домов углы, обоконники и крыши лампасьем леденцовым разноцветным облепили. Даже издали глядеть сладко.

Туман по показанной ему дороге тянется от сладкого озера и у нас на задворках вьется, в сладки кучи складыватся.

Пряники без устали самоходно себя месят, пекут, к нам себя катят, кучами складываются.

Народ у нас артельный, на помощь пришли, пряники к себе растащили. Дома, сидя за чаем, угощаются, потчуются.

К нам коли хороший человек поколотится, мы пряничны ворота отворим, с поклоном принимам, угощам, пряниками накормим, с собой запас дадим.

Поколотится урядник, поп, чиновник, мы скрозь окошки кричим:

— Милости просим, заходите, гостите, для вас самовар ставим, на стол собирам, рюмки наливам, только ворота пряничны не отворяются. Уж не стесняйте себя церемонией, поешьте пряники, проешьте дыру в меру своей вышины, ширины и в избу зайдите, гостями будете.

Поп, урядник, чиновник на пряничны ворота набрасывались, животы набивали пряниками, пряники ломали, в карманы клали, а к нам ходу ни прожрать, ни проломать не могли.

Без них у нас и стало сладко житье.

ПРЯНИКИ

Пряники беспрерывно прибавляются. У нас в Уйме места уйма, а от пряников тесно стало. Надо в город везти, хорошему простому народу в угощенье, а остальным в продажу.

По зимней ровной дороге мы крупного лампасья насыпали, на лампасье пряник на пряник поставили вышиной на аршин выше домов, шириной только с полулицы — для проходу половину улицы оставили. Для сохранности пряники туманом накрыли.

На что полицмейстер, кажется, страшне его не было никого, а и тот от пряничного ходу со всей своей тройкой свернул в переулок узенькой и до конца торгового дня из переулка вывернуться не мог.

О своем товаре мы не кричали, не объявляли, и так всем ведомо стало: пряничной дух всех с места скинул, все на рынок за пряниками прибежали.

Простому хорошему народу мы пряники так давали, кто сколько мог на себе унести. Чиновничьему люду пряники продавали. Цена нашим пряникам та же, что и лавочным, только мера друга. В лавках цена за фунт, а у нас за ту же цену бери махову сажень. Махова сажень два аршина с лишним, а то и три. Бери сажень в вышину и в ширину.

По первости чиновники фыркали:

— Много навезено, задешево продавают, значит, нестоящий товар! Нам угодно того, чего мало али вовсе нету, и что втридорога стоит, и нам за полцены давают.

Носом повертели, не утерпели, поели, попробовали — отстать не могут. Пряники — еда заманчива!

Все ели одинаково, а действие было разно.

Простой народ ел, сытел, в тело входил, голову подымáл, на ногах крепче стоял.

Чиновники, полицейски, попы, богатеи едят с жад-

ностью, их корежит, распират. Не по нутру им пришлись пряники, а народ хвалит, облизывается.

Хорошему народу мы давали пряники со всей узорностью, со всей печатностью — и в этом-то и вся сытость пряников была.

Остальным от тех же пряников и больши куски отворачивали, а на них пусто место али точка.

Полицейским не спится, на месте не сидится, надо им вызнать, с чего повелось, откуда завелось.

Полицейски тихим обходом дело начали, ко мне тонкими лисами подъехали:

— Малина, ты мужик справной, хорошо живешь, помалу не пьешь. Скажи на милость, откудова в Уйме пряников така уйма?

Спрашивают особым секретным голосом. Я им в том же виде отвечаю:

— Ежели скажу да покажу, то ваше начальство и у нас, мужиков, и у вас, полицейских, все себе отберет. Я покажу только вам по секрету, приходите ко мне в сутемки — сыты будете.

Были у меня бочки сорокаведерны припасены для медового запасу. Бочки я толсто медом смазал.

В потемень полицейски заявились. Я их со всей настоящей обходительностью угощал пряниками, накормил до раздутья. И по одному к бочкам подводил. Бочки без днищ да на боку в потемках очень схожи с потаенным ходом.

Полицейски в бочки сунулись, в мед влипли, я днища заколотил, для воздуха в бочках дырки просверлил. На бочках надпись вывел: «Перевертывать». Кто идет, тот и пнет. За околицу выпинали скоро. На дороге бочки не застаивались: всегда было кому пнуть, перевернуть.

От полицейских всем миром избавились!

По большим дорогам большо начальство ехало. Бочки поперек дороги выкатились.

Начальство увидало, медвежьей болезнью заболело, так уж положено было большому начальству той болезнью болеть.

— Ой-ой, бонба! Кати ее под гору, кати на реку!

В деревне и в городу теперь у нас тишина, спокой. Никто в морду не бьет, никого не грабят, никого в кутузку не тянут.

Губернатор и полицмейстер приказами кричат:

— Это беспорядок — во всем городе порядок!

ЦАРЬ В ПОХОД СОБРАЛСЯ

А пряников у нас горы. По всей деревне задворки пряниками загружены.

Мы едим, надо дать и другим. Стали посылать по железной дороге в разны города. Пряники грузили на платформы, туманом легонько прикрывали их для сохранности. Узорность и письменность на пряниках тех туманом скрывали от полицейских глаз.

Покатили наши пряники писаны-печатаны по селам, деревням, по городишкам, городам. Дошла весть о пряниках до чиновников, до важных начальников, до министеров, до царской подворотни и до самого царя.

Все перепугались, даже пьянствовать остановились. Царь выкрикиват:

— Как так, из голодной губернии в урожайно место сытость идет? Запретить, прекратить!

Царица заверещала:

— Дайте мне пряника самоходного, я таких в глаза не видала, на зубах не жевала. Ни жить, ни быть не могу — давайте пряника скореича!

Министеры духу-смелости набрали и прокричали:

— Ваше царьско, пряники-то печатны!

— Как так печатны? Кто дозволил?

Царь заскакал, всем министерам, генералам по зубам

надавал. Власть свою показал. Утишился и всем по царской награде привесил. Дух перевел и заговорил:

— Я своим царьским словом приказал: учить — обучайте, а понимать не дозволяйте. Я грамоту дозволяю — понимать запрещаю!

— Ваше царьско, по твоему указу в тот край политиков ссылали. Кабы их на тройках прокатили, оно бы ничего, а они пешком шли и каждым шагом народу пониманье несли.

Царь схватил бутылку с казенной водкой, о донышко ладошкой хлопнул, пробку умеючи вышиб, одним духом водку выпил и царско слово сказал:

— Заботясь неизменно о благе своем, приказываю пряники писаны-печатны опечатать и впредь запретить!

Министеры разными голосами рапортуют:

— Ваше царьско, дозвольте доложить, архангельскому народу нельзя запретить — из веков своевольны. Дойдут пряники писаны-печатны до глухих углов, тогда трудно будет нам. Надо особых людей послать для уничтожения сладкого житья и теплых вод, а народ к голоду повернуть. С сытым народом да с грамотным нам не справиться.

Царь ногами дрыгнул, кулаком по короне стукнул:

— Я умне всех! Сам в Уйму поеду, сам распорядок наведу, сам хороше житье прикончу!

Царь распетушился, на цыпочки вызнялся, чтобы показать свое высочайшество, да не вышло. Ни росту, ни дородства не хватало.

Два усердных солдата от всего старанья царя штыками за опояску подцепили и вызняли высоко, показали далеко.

И... крик поднялся!

Вопят, голосят царица с царевятами, министеры с генералами.

— Что вы, полоумны, делаете? Разве можно всему народу показывать настоящу царску видимость! Народу

показывать можно только золоту корону, что под короной, то не показывается, про то не говорится!

Царь в поход собрался.

— Еду! — кричит,— в Уйму, вот моя царьска воля!

Вытащили трон запасной, поставили на розвальни, дровни узки оказались. Трон веревками привязали.

Стали царя обряжать, одевать, надо царску видимость сделать. На царя навертели, накрутили всяко хламье-старье — под низом не видно, а вид солидне. Поверх тряпья ватный пиджак с царскими знаками натянули, на ноги ватны штаны с лампасами, валенки со шпорами. Сапоги с калошами рядом поставили.

Трудно было на царя корону надеть. Корона велика, голова мала.

На голову волчью шапку с лисьим хвостом напялили, пуховым платком обвязали и корону нахлобучили. Чтобы корону ветром не сдуло, ее золотыми веревками к царю привязали.

Под троном печку устроили для тепла и для варки обеда. Царю без еды, без выпивки часу не прожить.

Трубу от печки в обе стороны вывели для пуска дыма и искр из-под царя для всенародного устрашения. Царь, мол, с жаром!

Все снарядили. В розвальни тройку запрягли. По царскому указу в упряжку еще паровоз прибавили. На паровоз погоняльщика верхом посадили.

Все в полной парадности — едет сам царь!

В колокола зазвонили, в трубы затрубили. Народ палками согнали, плетками били. Народ от боли орет. Царь думат — его чествуют.

На трон царь вскарабкался, корону залихватски сдвинул набекрень, печать для царских указов в валенки сунул, шубу на плечи накинул второпях левой стороной кверху.

Царица со страху руками плеснула, в снег ухнулась

и ногами дрыгат. Министеры и все царски прихвостни от испугу закричали:

— Ай, царь шубу надел шиворот-навыворот, задом наперед! Быть царю биту!

От крику кони сбесились, кабы не паровоз, унесли бы царя и с печкой, и с троном, и с привязанной короной. Паровоз крику не боится — сам не пошел и коней не пустил.

Вышел один министер, откашлянулся и таки слова сказал:

— Ваше царьско, не езди в Уйму, я ее знаю: деревня длинновата, река широковата, берега крутоваты, народ с начальством грубоват, и впрямь побьют!

Царь с трона слез, сел на снегу рядом с царицей и говорит:

— Собрать мою царьску силу, отборных полицейских, и послать во все места, где народишко от писаных-печатных пряников сытым стал. Мой царьской приказ: повернуть сытых в голодных!

И подписал: быть но сему.

К нам приехала царска сила — полицейски. Таких страшилищ мы и во снах не видывали. Под шапками кирпичны морды, пасти зубасты — смотреть страшно.

Страшны, сильны, а на сладкости попались. Увидали пряники и с разбегу, с полного ходу вцепились зубами в пряничны углы домов. Жрут, животы набивают. А нам любо: ведь на каждом пряничном углу пусто место али точка, для полицейских — для царской силы та точка.

Много полицейски ели, сопели, потели, а дальше углов не пошли, нутра не хватило, и вышла им точка! Их расперло, ладно — дело было зимой, летом их бы разорвало.

Объелись полицейски, руками, ногами шевелить не могут. Мы у них пистолеты отобрали, в кобуры другого наклали, туши катнули, ногами пнули.

И покатилась от нас царска сила.

Царь в город записку послал, спрашивал, как евонна сила действует? Записка в подходящи руки попала и ответ был даден:

«Полицейски от нас выкатились. Царьску силу мы выпинали. Того же почету вам и всем царям желам».

КАК Я ЧИНОВНИКОВ ПОТЕШИЛ

Городско начальство стало примечать: изо всех деревень, и ближних и дальних, мужики, жопки приезжают сердиты, а из Уймы все с ухмылочкой.

Что за оказия така? Все деревни одинаково под полицейскими стонут, а уемски все с гунушками, а то и смехом рассыплются, будто спомнят что.

Дозналось начальство. Да наши сами рассказали — не велик секрет, не наложен запрет.

Дело, говорят, просто: наш Малина веселы сказки плетет, песни поет, порой мы не знам, где правду сказыват, где врать начинат — нам весело, мы смехом и обиду прогоням, и усталь изживам.

Дошло это до большого начальства. Большо начальство затопорщилось.

— Как так смешно да весело мужикам, а не нам? Подать сюда Малину, и во всей скорости!

Набрал я всякой еды запас на две недели, пришагал в город к дому присутственных мест, стал по переду, дух вобрал да гаркнул полным голосом:

— Я, Малина, явился! Кому нужон, кто меня требовал, кто меня спрашивал?

Да так хорошо гаркнулось, что в окнах не только стекла — рамы вылетели, в присутственных палатах столы, стулья, шкапы с бумагами подбросило, чиновников перекувырнуло и мягким местом об пол припечатало!

Худо бы мне было от начальства за начало тако, да губернатора на месте не было, он по заведенному по

ложению поздне всех выкатился. Поглядел губернатор на чиновников, как те ушибленные места почесывают а встать-подняться не могут.

Губернатор под мой окрик не попал, а на других глядеть ему весело, он и захохотал.

Чиновникам и больно, и обидно, а надо губернатору вторить. Они и захихикали мелким смехом.

Губернатор головы не повернул, а мимо носу, через плечо, наотмашь стал слова бросать:

— Вот за этим самым делом, Малина, я тебя призвал, чтобы ты меня и других чинов важных уважил — смешил. Сичас ты меня рассмешил. Ты, сиволапый, долго ли можешь нас, больших людей, смешить?

— Да доколе прикажете!

— Ну-ну! Мы над мужиком смеяться, потешаться устали не знам, нам это дело привычно. Потешай, пока у тебя силы хватит. Загодя скажу — ты скоре устанешь, чем мы смеяться перестанем.

Для хорошего народу сказки говорю спокойно, где надо, смеху подсыплю — народ заулыбается, рассмеется и дальше опять в спокое слушат. В меру смех — в работе подмога и с едой пользителен.

А чиновников что беречь?!

Сердитость свою я убрал, чтобы началу не мешала, сделал тихо лицо, тако мимоходно. Начал тихо, а помалу да помалу стал голосу прибавлять, а смех-то сыпал с перцем, да с крупнотолченым, несуразицей подпирал, себя разогнал, ну, и накрутил.

Губернатор взвизгиват, животом трясет, чиновников скололо, руками отмахиваются, значит, передышки просят.

Я смотрю, чтобы смех не унимался, чтобы смех не убывал. Завернул я большой смех часа на три, а сам в ту пору сел, поел, питья да выпивки велел из трактира принести и на губернаторский счет записать.

Три часа проходят, я еще слов пять сказал — как пару поддал, и опять чиновники от смеху в круги-переверты да в покаточку.

Мне что? Больше смеются — больше смешить стал Я чиновников-издевальщиков крепко крутонул, а сам по городу пошел — разны дела делал, порученья деревенски справлял.

Время к вечеру пришло. Мне спать пора, я тако загнул что губернатор всю ночь глоткой ухал, а чиновники тонким визгом завились.

Ну другой день я всю сердитость накопленну в ход пустил. И не только словами смешил, потешал, а и руками и ногами всяки кренделя выделывал — это словам на подмогу, как гармонь к песне. Из присутственных мест из разных палат смех да хохот громом летел по городу!

Городска беднота только ежилась.

— Опять на нас каку-то напасть выдумывают, опять шкуру с нас драть ладятся. Экой упряг времени хохочут,

Чиновники остановиться смеяться не могут. Глянут друг на дружку — их как ременкой подстегнут на новый смех. Через столы переваливаются, по полу катаются.

Каждому смешно, что не он один в тако дело попал.

И до того досмеялись, что мелки чиновники только ножками дрыгали, да икали, а губернатор только булькал да пузыри пускал.

Чиновники народ был хилый, мундирами держались, а смеяться насмехаться над мужиками да над простым народом были сильны. Неделю смеху выдержали и только второй недели недотянули извелись. А губернатор лопнул!

ЛУННЫ БАБЫ

Доняла меня баба руганью: и не пей, и не пой, и работай молчком. Ну, как это не петь, как молчать? У меня и рот зарастет. Работа с песней скорей идет, а разговором от иного дела и отговориться можно.

Тут скочила мне в память стара говоря: попал дедка в рай, бабка в ад — и рады оба, что не вместе.

Ну, куда ни на есть, да надо от бабы подальше. И придумал убежать на луну. Оттуда и за домом и за бабой присматривать буду.

Для проезда на луну думал баню приспособить, да велика. Обернуться не во что было.

А лететь-то надо паром. Я самовар пару к себе приладил: один спереду, другой сзаду. Взял запас уголья, взял запас хлеба, другого прочего, чего надо.

Взял бабкину ватну юбку — широченна така, к подолу юбки парусину пришил. Верх у юбки накрепко связал и перевернул. В юбке дыру проделал, в дыру банно окошко вставил. Окошко взял у старой бани, нову портить посовестился.

В ватной юбке сижу, парусиной накрылся, самовары наставил. Самовары закипели. Паром юбка да парусина надулись и вызнялись. И понесло меня изо дня в день, изо дня в день, да скрозь ночь полетел!

Стукнулся на луну, в мягко место попал и не разбился. Угодил в деревню обликом на манер нашей Уймы. Из ватной юбки не вылезаю, только в окошко гляжу, как на луне живут? Гляжу да место для своего жилья выбираю.

Вижу из белого дому на белой двор зелена баба лунна выскочила, морда у бабы злющша, зубы острюшши. Гонит баба мужика, что-то ругательно кричит, мужика колошматит то с маху, то наотмашь!

И скорехонько измочалила, видать, дело привышно Хватила зеленая гребень редкой, вычесала мужика буди

лен. За пряжу села, опосля и за тканье взялась — соткала лоскутну номене фартука и на зад нацепила — мужниной памятью утешаться и для обозначения, что, мол, вдова и взамуж охоча.

Я тихим шагом — в юбке да с двумя самоварами не порато заторопишься! — да так тихим шагом по луне пошел житье да бытье глядеть. Холодно там, все бело, только бабы лунны от злости зелены, да это и отсюдова видать.

Смотрю, бабы на мужиках землю пашут: на мужиках сидят да хворостиной подгоняют. Дошел до гумна, а там хлеб молотят — и опять-таки мужиками. Держит баба мужика за руки али за голову, над своей головой размахнет да как цепом и вдарит. Бабы норовят молотить мягким местом, а мужики норовят пятками стукнуть.

Худо мужиково житье на луне! Правов у мужиков никаких нету. Жонки над ними выхаживаются, как придумают. Мужиков в щепы щиплют, из мужиков веретено точат. С мужиков лыко дерут. Лунны бабы лыкову трубу плетут. Уж длинную выплели, хотят еще длинней выплести, а для этого виновных мужиков надо извести. Как выплетут до большого конца, так на землю нашим бабам прокричать хотят лунны жонки, как над мужиками верх взять, мужиков в смирность привести и чтобы по бабьей указке все делали и по бабьей дудке плясали.

Я решил, что для нас это не подходяще, и на луне я жить расхотел.

Гляжу — лунны жонки гулянкой идут, и у всякой на заду да напереду навешаны лоскутины, из мужиков тканные, да не по одному — по пять да по десять висит. Жонкам и тепло, и нарядно, а каково мужикам?

Увидали меня лунны бабы зелены и заподскакивали, и завывертывались. То круглы, как месяц полнолунной, то тонехоньки обернутся, как месяц на ущербе. Это меня подманивают, то толстостью, то тонкостью пондравиться

хотят. А меня от них в оторопь бросат, лихорадкой трясет.

Я маленькими шажками ушагиваю от лунных баб подале, из самоварных труб искрами сыплю, подступу не даю.

Вижу, лунны жопки, зелены рожи, каку-то машину ко мне прут. Жерпова в разны стороны поворачиваются. К жерновам мельничьи розмахи прилажены. Розмахи как руки, размахались, меня зацепить норовят.

Кабы не самовары, тут и конец бы мой пришел. Молодцы самовары! Как раз впору закипели. Я самоварной кран из юбки высунул, на лунных баб кипятком прыснул. Да круто повернулся, меня на землю в обратный ход понесло.

Только успел заприметить, что зеленые жонки от теплой воды осели и присели. Видел, как лунны мужики на лунных баб уздечки накинули, сели да поехали поле пахать да всяку первоочередну работу справлять.

Меня несет, меня несет! Из ночи в ночь, из ночи в ночь! Домой прилетел как раз поутру.

Тут меня ждут. Чиновники думают, не привез ли золота,— руки ловчат отнять. Поп ждет, чтобы узнать, на котором я небе был? И ему все обсказал, пока помню. Ждут полицейски урядники, чтобы арестовать да оштрафовать.

Ждут, на дороге и место налажено, приманкой стакан водки да огурец с селедкой положены. Моя жона окошки в избе настежь отворила, мне на лету и видно, что она напекла, наварила, а водки четвертна на столе.

Народушку сбежалось меня глядеть множество, от народу темно кругом, глядят во все глаза. Как увернуться? А увернуться беспременно надобно. Меня затолкают, из ума вышибут, от полицейского допросу, от поповского расспросу, коли жив останусь, то в суд поведут, под штраф подведут.

Я самоварной кран из юбки выставил, горячу воду пустил, а сам верчусь, кручусь, разбрызгиваюсь.

Народ, кто успел, в сторону шарахнулся, кто не успел, те подолами да пинжаками накрылись, полицейски в шинельки завернулись.

Я той порой от дороги в сторону, на огород за баню. Чтобы не стукнуться, самоваров не примять да кипятком не ошпариться, у меня к ногам раздвижна тренога прицеплена, мне ее для этого дела дал проезжий сымальщик фотограф. Я треногу вытянул, в землю ткнулся. Ноги одна в одну, одна в одну — и стоп!

Я на землю. Из юбки выпростался, самовары трубами в разны стороны поставил, в самоварах мешаю, искры пущаю. Народ, как от окрика, осадил.

Я так возврату на землю обрадел, что с жоной наскоро обнялся. Жона меня лопухами прикрыла, еды да питья принесла. Я за землю держусь крепко, ем да запиваю, выпиваю да закусываю, промеж лопухов смотрю, что творится около да в избе.

Моя баба самовары долила, на стол поставила, юбку ватну да парусины на другой стол положила. Сама баба моя плачет, заливатся и причет ведет:

Ох, соседушки, сватьи, кумушки!
Вы мово слова послушайте,
Да совет мне посоветуйте,
Как теперь зватися мне —
Вдовой али мужней жоной?
Муженек мой разлюбезной, ягодиночка,
Спела ягодка малиночка,
Остался на холодной луне одинешенек!
Скоро ль ночка настанет,
С неба мужнин глазок ласково глянет!
Век прожила — с тучами не спорила.
Теперича тучи будут разлучницами!
Закроют от меня ясной месяц,
Муженька любимого!
Уж вы, жоночки, подруженьки,
Скажите-ко тучам, тем,
Пусть закроют от меня белой день,
Пусть оставят мне ясну ноченьку!

Не обнять мне мужа милого,
Дак погляжу на луну
Мужу в ясны оченьки!
Как остатной привет,
Послал мне муж юбку,
Ватну юбку теплую,
Не согреет меня сам
Мой сокол летный!

Столь ласково, столь жалостливо жона песней-причетом льется, что я носом фыркнул, пирог с морошкой доел и заревел. Реву, что один без жоны остался на луне. От жониного плачу и я поверил, что там на луне сижу, позабыл, что на огороде под лопухами водку заедаю шаньгами.

Гляжу, а поп Сиволдай с урядником секретной разговор произвели, ватну юбку объявили юбкой с первого неба, юбку на палку нацепили, лентами обвязали, цветами облепили и по деревне понесли.

Народ в те поры вовсе глупой был, попу да уряднику денег полны карманы наклали. Поп с урядником и по другим деревням юбочной ход сделали.

Городски попы это дело вызнали, архиерею рассказали. Архиерей говорит:

— Деревенски глупы, городски не умней: что тем, что другим — было бы погромче да почудней! Деньги сыпать станут — только карман растопыривай!

Ты вот думашь — я все вру, а впрямь тако время было!

Что со мной сделали?

Да ковды дело дошло до доходу, про меня позабыли!

БАБЫ РАЗГОВАРИВАЮТ

До чего бабы за разговором время теряют. Теперь-то всяка делом занята, дело подгонят, а в прежню пору у них времени для пустого разговору много было. Разговор

начинали чинно, медленными словами, а как разгонятся — ну, и затараторят, от слов брякоток пойдет, бывало.

Перед моей избой столкнулись попадья Сиволдаиха и модница из городу. Им бы идти куда ни на есть — ну, к той же попадье, да там за самоваром и говорили бы, сколько хотели. Но обе, вишь ты, торопились. Остановились на два слова, начали чинно, и обе в один голос и как одно длинно слово протянули:

— Здравствуйте-как-поживаете-благодарю-вас-ничего!

И всякое другое для разминания языка.

Вскорости заговорили громче, громче и затрещали, будто зайцев загоняют.

Я час терпел, думаю умом: наговорятся, разойдутся. Второй час прошел. Я ничего делать не могу, в ушах шум, гул. Повязал голову жониной кофтой ватерованной, закутал фартуком.

А под окном громче заговорили, в спор вошли, на крик перешли.

Я на чердак вылез с ушатом воды и из чердачного окошка стал водой поливать.

Бабы зонтик растопырили и еще громче заголосили.

Хватил я лопату — да песком, что на чердаке над потолком был. Лопатой сгреб — да в окошко, да на Сиволдаиху и на городску модницу! Сыпал, сыпал! Слышу — стихло: ушли, значит.

Я умаялся, прилег отдохнуть. И только разоспался по-хорошему — слышу шум-звон. Что тако?

А это поп Сиволдай в колокол звонит, попадью ищет Из города прибежали — модницу ищут. Ко мне урядник колотится, ругается, велит кучу песку с улицы убрать.

Глянул я на улицу, а перед домом моим поперек улицы на самой дороге большая куча песку.

— Мне како дело до улицы? Кабы во дворе, я убрал бы, а тут место обчественно, пусть обчеством и убирают!

Куча-то проезду мешала. Стали песок разгребать, дорогу очищать. Я со всеми тоже работал. Песок разрыли, а там под зонтиком Сиволдаиха с модницей одна другой в космы вцепились, ревмя ревут, криком кричат. У них спор вышел о новом модном наряде: куда бант прицепить, спереди али сзади?

Это дело тако важно, что бабы со всей Уймы в спор вступились, проезжающи городски тоже прицепились.

Полторы сутки спорили, кричали, нас обедом не кормили, чаем не поили.

Полицейско начальство глупому делу не мешало. Мы уж своей волей вольнопожарной командой в баб воду пустили и то едва по домам разогнали!

МЕСЯЦ С НЕБЕСНОГО ЧЕРДАКА

На военной службе я был во флоте. В морском дальнем походе довелось быть на большом корабле.

Шли мы и до самого краю земли дошли. Это теперь вот у земли края нет, да небо куда-то отодвинули.

А в старо бывалошно время дошли мы кораблем до угла, где земля в небо упиралась, и мачтой в небо ткнулись. В небе дыру пропороли.

Я на мачту, а с мачты на небо залез. А там, ну как на всяком чердаке, хламу разного навалено кучами. Стары месяцы держаны, звезды ломаны, молнии ржавы, громы кучей навалены, грозовы тучи запасны, их я стороной обошел. Ну-ко тронь их, что будет?

Хотел было просту тучу взять на рубаху каждоденну, да подходящей выбрать не мог: то толста очень, то тонка и в руках расползается. Что взять для памяти, звезду? А что их с неба хватать!

Выбрал месяц, который не очень мухами засижен, прицепил на себя, как раз во весь живот пришелся, как по мерке, шинель застегнул, месяца не видно.

Высунулся с неба, а корабль отошел, до него сразу пропасть стала.

Что делать? Не сидеть же век на небе?

Размотал шарф с шеи, распустил его в одну ниточку, кинул вниз, начал спускаться. До конца нитки спустился. До корабля, до палубы, верст полтораста осталось. Такой-то пустяшный кусок и скочить не сколь хитро.

Начальство в большом беспокойстве было, что в небе дыру сделали, и не приметило, как я на небо забрался и с неба воротился.

Вечером на поверке я шинель распахнул.

Что тут сталось!

Свет от месяца на моем животе на полморя полыхнул! Это для неба месяц вроде перегоревшей лампочки, а здесь, на земле, от него свет даже свыше всякой меры.

Командиры забегали, руками хлопают, руками машут, кричат мне:

— Малина, не светь!

Я выструнился, месяцем выпятился и рапортую:

— Никак нет, ваше командирство, не могу не светить. Это мое нутро светит тоской по дому. Как получу отпускну, так свет сам погаснет.

Начальство сейчас написало увольнительну записку домой, печати наставило для крепости. Я шинель запахнул — и свету нету.

А в нос мне всякой пыли с небесного чердака напопало: и ветровой, штормовой, грозовой, громовой. Я на корму стал да как чихнул ветром, штормом, грозой с громом!

Разом корабль к берегу принесло.

В те поры, надо сказать, страсть уважали блеск на брюхе. Всякой дешевенькой чиновничишко светлы пуговицы нацеплял, а который чином поболе, то всяки блестящи отметины на себя лепил. У самых больших чинов-

ников все брюхи были в золоте и зад золоченый, им и спереду и сзаду поклоны отвешивали.

У кого чина не было, а денег много, тот золоту цепь поперек брюха весил. Народ приучен был золотым брюхам поклоны отвешивать.

Я это знал распрекрасно.

Вышел я на берег и прямо на вокзал, и прямо в буфет.

Меня пускать не хотели.

— Куда прешь, матрос, здеся для чистой публики!

Нас, матросов и солдат, и за людей не признавали.

Я шинель распахнул, месяцем блеснул до полной ослепительности.

Все заскакали, закланялись. Ко мне не то что с поклоном, а с присядкой подлетели услужающие и говорят:

— Ах...— и запнулись, не знают, как провеличать,— не желательно ли вам откушать? Вснка еда готова, и выпивка на месте!

Я сутки напролет сидел да ел, ел да пил. Ведь не ближний конец до неба добраться и с неба воротиться, так проголодался, что суток для еды мало было. Отдал приказ поезду меня дожидаться.

Заместо платы за еду я месяцем светил.

С меня денег не просили, а всякого провианту за мной к поезду вынесли, чтобы в пути я не оголодался.

В вагон не полез: в вагоне с месяцем тесно и никто не увидит моей светлости. Уселся на платформу. Меня подушками обложили, провианту наклали.

Шинель я снял. И пошло сияние на все округи!

Это для неба месяц был не гож да прошломесячный, а для нас на земле так очень даже много свету.

Светило не с неба на землю, а с земли до неба, и така была светлынь, что всю дорогу и встречали, и провожали с музыкой, и пели «Светит месяц»

Домой приехал. Начальство не знало, как надо почтение выказать такому сияющему брюху.

Парад устроили, с музыкой до самой Уймы провожали, ура кричали.

Только вот месяц на небе в холоду держался, ветром обдували, а здесь на земле тухнуть стал — и погас.

В хозяйстве все идет в дело. На том месяце хозяйки блины, пироги, шаньги пекут. Как сковородка месяц и великоват, ну да большому куску рот радуется.

В гости приходи — блинами угощу, блины-то каждый с месяц ростом. Поешь — верить станешь.

ЗА ДРОВАМИ И НА ОХОТУ

Старинная пинежская сказка

Поехал я за дровами в лес. Дров наколол воз, домой собрался ехать да вспомнил: заказала старуха глухарей настрелять.

Устал я, неохота по лесу бродить. Сижу на возу дров и жду. Летят глухари. Я ружье вскинул и — давай стрелять, да так норовил, чтобы глухари на дрова падали да рядами ложились.

Настрелял глухарей воз. Поехал, Карьку не гоню — куды тут гнать! Воз дров, да поверх дров воз глухарей.

Ехал-ехал да и заспал. Долго ли спал — не знаю.

Просыпаюсь, смотрю, а перед самым носом елка выросла! Что тако?

Слез, поглядел: между саней и Карькиным хвостом выросла елка в обхват толщиной.

Значит, долгонько я спал. Хватил топор, срубил елку, да то ли топор отскочил, то ли лишной раз махнул топором,— Карьке ногу отрубил.

Поскорей взял серы еловой свежой и залепил Карькину ногу. Сразу зажила!

Думашь, я вру все? Подем, Карьку выведу. Посмотри, не узнашь, котора нога была рублена.

КАК ПОП РАБОТНИЦУ НАНИМАЛ

Старинная пинежская сказка

Тебе, девка, житье у меня будет легкое, не столько работать, сколько отдыхать будешь!

Утром станешь, как подобат,— до свету. Избу вымоешь, двор уберешь, коров подоишь, на поскотину выпустишь, в хлеву приберешь и

спи — отдыхай!

Завтрак состряпашь, самовар согрешь, нас с матушкой завтраком накормишь и

спи — отдыхай!

В поле поработашь, в огороде пополешь, коли зимой — за дровами, за сеном съездишь и

спи — отдыхай!

Обед сваришь, пирогов напечешь — мы с матушкой обедать сядем, а ты

спи — отдыхай!

После обеда посуду вымоешь, избу приберешь и

спи — отдыхай!

Коли время подходяще, в лес по ягоды, по грибы сходишь, али матушка в город спосылат, так сбегашь До городу рукой подать, и восьми верст не будет, а потом

спи — отдыхай!

Из городу прибежишь, самовар поставишь. Мы с матушкой чай станем пить, а ты

спи — отдыхай!

Вечером коров встретишь, подоишь, напоишь, корм задашь и

спи — отдыхай!

Ужну сваришь, мы с матушкой съедим, а ты

спи — отдыхай!

Воды наносишь, дров наколешь — это к завтрему — и

спи — отдыхай!

Постели наладишь, нас с матушкой спать повалишь.

А ты, девка, день-деньской проспишь-проотдыхашь — во что ночь-то будешь спать?

Ночью попрядешь, поткешь, повышиваешь, пошьешь и опять

спи — отдыхай!

Ну, под утро белье постирашь, которо надо, поштопашь да зашьешь и

спи — отдыхай!

Да ведь, девка, не даром! Деньги платить буду. Кажной год по рублю! Сама подумай. Сто годов — сто рублев.

Богатейкой станешь!

НА КОРАБЛЕ ЧЕРЕЗ КАРПАТЫ

(Слышал у Малины)

Я вот с дедушкой покойным (кабы был жив — поддакнул бы) на корабле через Карпаты ездил.

Сперва путина все в гору, все в гору. Чем выше в гору, тем больше волны.

Экой качки я ни после, ни раньше не видывал.

Вот простор, вот ширь-то! Дух захватыват, сердце замират и радуется.

Все видно, как на ладони: и города, и деревни, и реки, и моря.

Только и оставалось перемахнуть и плыть под гору с попутным ветром. Под гору завсегда без качки несет. Начат, ковды вверх идешь.

Только бы нам, значит, перемахнуть, да мачтой за тучу зацепили. И ни в ту, ни в ну.

Стой, да и все тут.

Дедушка относа боялся главне всего. А ну как тучато двинет да дождем падет? Эдак и нам падать приведется. А если да над городом да днищем-то угодим на полицейску каланчу али на колокольню?

Днище-то прорвет, а на дырявом далеко не уедешь.

Послал дедушка паренька,— был такой, коком взяли его и плату коку за навигацию была — бочка трески да норвежска рубаха.

Дедушка приказ дал:

— Лезь, малец, на мачту, погляди, что оно там нас держит? Топор возьми; коли надобно, то у тучи дыру проруби али расколи тучу.

Парень свернулся, провизию забрал, сколько надо: мешок крупы, да соли, да сухарей.

Воды не взял: в туче хватит.

Полез.

Что там делал? Нам не видно. Чего не знаю, о том и говорить не стану, чтобы за вранье не ругали.

Ладно.

Парень там в туче дело справлят и что-то на поправку сделал. И уронил топор.

Мачты были так высоки, что топор, пока летел, весь изржавел, а топорище все сгнило. А мальчишка вернулся стариком. Борода большуща, седа!

Но дело сделал — мачту освободил.

Дедушка команду подал:

— Право на борт! Лево на борт!

Я рулем ворочаю. Раскачали корабль. Паруса раскрыли. Ветер попутной дернул, пас и понесло под гору.

Мальчишке бороду седу сбрили, чтобы старше матери не был, опять коком сделали.

И так это мы ладно шли на корабле под гору, да что-то под кормой зашабрило.

Глянули под корму — а там мезенцы морожену навагу в Архангельск везут!

ПРОПОВЕДЬ ПОПА СИВОЛДАЯ

Поп Сиволдай вздохнул сокрушенно. Народ думал, о грехах кручинится, а поп с утра объелся и вздохнул для облегчения, руки на животе сложил и начал голосом умильным, протяжным, которым за душу тянут:

— Людие! Много есть неведомого. Есть тако, что ведомо только мне, вам же неведомо. Есть таково, что ведомо только вам, мне же неведомо.

Сиволдай снова вздохнул сокрушенно.

— Есть и тако, что ни вам, ни мне неведомо!

Поп погладил живот и зажурчал словами:

— О, людие дорогие мои! У меня старой подрясник. Сие ведомо только мне, вам же неведомо.

— О, любезны мои други! Купите ли вы мне материи на новой подрясник шерстяной коричневого цвету и шелковой материи такового же цвету на подкладку к подряснику,— сие ведомо только вам. Мне же сие неведомо.

О, возлюбленные мои братия! А материя, котору вы купите мне на подрясник, и подкладка к оному подряснику и с присовокупленною к ней материей тоже шерстяной цвета семужьего, с бархатом для отделки подобающей,— понравится ли все сие моей попадье Сиволдаихе — ни вам, ни мне неведомо!

КАК НАРЯЖАЮТСЯ

Наши жонки, девки просто это делают. Коли надобно вырядиться для гостьбы, для гулянки всяка самолучший сарафан, а котора платье на себя наденет, на себе одернет, и как нать, така и есть.

К примеру взять мою жону. Свою жону в пример беру — не в чужи люди за хорошим примером идти.

Моя жона оденется, повернется — будто с картины

выскочила. А ежели запоет в наряде, прямо залюбуешься. Ежели моя баба в ругань возьмется, тогда скоре ногами перебирай, дальше удирай и на наряды не оглядывайся.

К разу скажу: котора баба не умет себя нарядно одеть, хошь и не в до́роге, а чтобы на ней было хорошо,— ту бабу али девку и из избы не надо выпускать, чтобы хорошего виду не портила. И про мужиков сказать. Быват так: у другого все ново, нарядно, а ему кажет, что одна пуговица супротив другой криво пришита, и всей нарядности своей из-за этого не восчувствует, и при всей нарядности рожу несет будничну и вид нестоящий.

Сам-то я нарядами не очень озабочен. У меня что рабоче, что празднично — отлика невелика. На праздник, на гостьбу я наряжаюсь, только по-своему. Сяду в сторонку. Сижу тихо, смирно и придумываю себе наряд. Мысленно всего себя с головы до ног одену в обновы. Одежу придумаю добротну, неизносну, шитья хорошего, и все по мерке, по росту, не укорочено, не обужено. Что придумаю — все на мне на месте. Волосы руками приглажу — думаю, что помадой мажу. Бороду расправлю и лицом доволен — значит, наряден. По деревне козырем пойду.

Кто настоящего пониманья не имет, тот только мою важность видит, а кто с толком, кто с полным пониманьем, тот на меня дивуется, нарядом моим любуется, в гости зовет-зазыват, с самолучшими, с самонарядными за стол садит и угощат первоочередно.

И всамделишной мой наряд хулить нельзя. Он не столь фасонист, сколь крепок. Шила-то моя жона, а она на всяко дело мастерица — хошь шить, хошь стирать, хошь в правленье заседать.

Раз я от кума с гостьбы домой собрался. Все честь по чести, голова качается, в глазах то светло, то потемень, ноги подгибаются. Я языком повернул и очень даже явственно сказал: «Покорно благодарим, премного доволь-

ны, довольны всей утробой. И к нам милости просим гостить, мимо не обходить». И все тако, как заведено говорить.

Подошел я к порогу. На порог я ногой не ступаю, порогов не обиваю. Поднял я ногу, чтобы, значит, пере шагнуть, а порог выше поднялся, я опять перешагнул. Порог свою линию ведет — подымается, а я перешагиваю.

Да так вот до крыши и доперешагивал, будто я по лестнице ноги переставлял. Крыша крашена, под ногами гладка. Я поскользнулся и покатился. Дом был в два жилья — нижне жилье да верхне жилье.

Тут бы мне и разбиться на мелки части. Выручила пуговица. Пуговицей я за жёлоб дождевой зацепился.

И на весу да в вольном воздухе хорошо проспался. Спать мягко, нигде не давит. Под боком ни комом, ни складкой.

Поутру кумовья, сватовья проснулись, меня бережно сняли. Городским портным так крепко, так нарядно пуговицу не пришить, как бы дорого ни взяли за работу.

ВСКАЧЬ ПО РЕКЕ

А чтобы бабе моей неповадно было меня с рассказу сбивать, я скажу про то время, ковды я холостым был, парнем бегал.

Житьишко у нас было маловытно, прямо сказать, худяшшо. Робят полна изба, подымать трудно было.

Ну, я и пошел в отхожи промыслы. Подрядился у одного хозяина-заводчика лесу плот ему предоставить.

А плыть надобно одному, плата така, что одного едва выносила. Кабы побольше плотов да артелью, дак плыви и не охни.

Но хозява нам, мужикам, связаться не допускали.

Знали, что коли мы свяжемся, то связка эта им петлей будет.

Ну, ладно, плыву да цыгаркой дым пущаю, сам песни горланю.

Вижу — обгонят меня пароходишко чужого хозяина. Пароходишко идет порожняком, машиной шумит, колесами воду раскидыват, как и путевой какой. И что он надумал?

Мой плот подцепил, меня на мель отсунул. Засвистал, побежал.

Что тут делать? Я ведь в ответе.

Хватил я камень да за пароходом швырнул. Камень от размаха по воде заподскакивал. Коли камень по воде скачет, то мне чего ждать? Я разбежался, размахнулся, швырнул себя на воду. Да вскачь по реке!

Только искры полетели. Верст двадцать одним дыхом отмахал.

Догонил пароходишко, за мачту рванул, на гору мах нул да закинул за баню да задне огородов. И говорю:

— Тут посвисти да поостынь. У тебя много паров и больше того всяких нравов.

Плот свой наладил, песню затянул, да таку, что и в верховьях и в низовьях — верст за пятьсот зазвенело! Я пел про теперешну жону — товды она в хваленках ходила и видом и нарядом цвела.

Смотрю — семга идет.

— Охти! Да ахти! А ловить-то нечем.

Сейчас штаны скинул, подштанники скинул и давай штанами да подштанниками семгу ловить. В воде покедова семга в подштанники идет-набивается, я из штанов на плот вытряхиваю. Штаны в реку закину — за подштанники возьмусь.

А рыба пуще пошла. Я и рубаху скинул под рыбну ловлю. А сам руками машу во всю силу — для неприметности, что нагишом мимо жилья проезжаю. Столько наловил, что чуть плот не потоп.

Наловил, разобрал — котора себе, котора в продажу,

котора в пропажу. В пропажу — это значит от полицейских да от чиновников откупаться.

Хорошо на тот раз заработал. Бабке фартук с оборкой купил, а дедке водки четвертну да мерзавчиков два десятка. (Была мелка така посуда с водкой, прозывалась — мерзавчики).

Четвертну на воду, мерзавчики на ниточках по воде пустил.

А фартук с оборкой на палку парусом прицепил и поехал вверх по Двине.

Сторонись, пароходы,
Берегись, баржа,
Катит вам навстречу
Сама четвертна!

Так вот с песней к самой Уйме прикатил.

На берег скочил, четвертну, как гармонь, через плечо повесил, мерзавчиками перестукивать почал.

Звон малиновой, переливчатой.

Девки разыгрались, старики козырем пошли!

Не все из крашеного дома, не все палтусину ели, а форс показать все умели.

Моя-то баба в тот раз меня и высмотрела.

* * *

А пароходишко-то тот, который я на гору выкинул,— неусидчив был, он колесами ворочал да в лес упятился.

Стукоток да трескоток там поднял.

У зверья и у нтиц ум отбил.

А у птиц ума никакого, да и тот глупой.

Пароходски оглупевших зверей да птиц голыми руками хватали.

Тут мужики эдакой охоте живо конец положили.

С высокой лесины па пароход веревку накинули, па-

роход вызняли, артелью раскачали и в обратну стать на реку кинули.

Я в ту пору уж дома был. Бабке фартук отдал, дедку водкой поил.

ПОДРУЖЕНЬКИ

Как звать подруженек, сказывать не стану, изобидятся, мне выговаривать почнут. Сами себя узнают, да виду не покажут, не признаются.

Обе подруженьки страсть как любили чай пить. Это для них разлюбезно дело. Пили чай всегда вместе и всяка по-своему. На стол два самовара подымали. Одной надо, чтобы самовар все время кипел-разговаривал.

— Терпеть не могу из молчашшого самовара чай пить, буди с сердитым сидеть!

Друга, как самовар закипит, его той же минутой крышкой прихлопнет.

— Перекипела вода вкус терят, с аппетиту сбиват.

Обе голубушки с полного согласия в кипящий самовар мелкого сахару в трубу сыпали. Это для приятного запаху, оно и угарно, да не очень.

Чай пили — одна вприкуску, друга внакладку. Одной надо, чтобы чашечка была с цветочком: хошь маленький, хошь с одной стороны, а чтобы был цветочек. «Коли есть цветочек, я буди в саду сижу!»

Другой надо чашечку с золотом, пусть и не вся золота, пусть только ободочек, один крайчик позолочен,— значит, чашечка нарядна!

Одна пила с блюдечка: на растопыренных пальчиках его держит и с краю выфыркиват, да так тонко-звучно, буди птичка поет.

Друга чашечку за ручку двумя пальчиками поддерживат над блюдечком и чаем булькат.

Пьют в полном молчании, от удовольствия улыбаются, маленькими поклонами колышутся.

Самовары ведерны. По самовару выпили, долили, снова пить сели. Теперь с разговором приятным. Стали свои сны рассказывать. Сны верны, самы верны: что во сне видели, то всамделишно было.

Одна колыхнулась, улыбнулась и заговорила:

— Иду это я во сне! И така я вся нарядна, така нарядна, что от меня будто свет идет! Мне даже совестно, что нарядне меня нет никого. Дошла до речки — через речку мостик. Народом мостик полон — кто сюда, кто туда. При моей нарядности нельзя толкаться. Увидали мою нарядность — кто шел сюда, кто шел туда — все приостановились, с проходу отодвинулись, мне дорогу уступили.

Заметила я, что не все лица улыбаются. Я сейчас же приветливым голосом сказала слова громоотводные: «Извините, пожалуйста, что я своим переходом по мостику вашему ходу помешала, остановку сделала». Все лица разгладились, улыбками засветились. Ясный день светле стал. Речка зеркалом блестит. Глянула я на воду — на свою нарядность полюбоваться,— рыбы увидали меня, от удивленья рты растворили, плыть остановились, на меня смотрят-любуются. Я сняла фартук с оборками, зачерпнула полный рыбы и с поклоном в знак благодаренья за оказанно уваженье отдала народу по эту сторону мостика. Ишо зачерпнула рыбы полный фартук и отдала народу по ту сторону мостика. Зачерпнула рыбы третий раз — домой принесла.

Кушайте пирог с той самой рыбкой, котору во сне видела. Вот какой у меня верный сон!..

Друга подруженька обрадовалась, что пришел ее черед рассказывать. Вся улыбкой расцвела и про свой сон рассказ повела:

— Видела я себя такой воздушной, такой воздушной! Иду по лугу цветущему, подо мной травки не приминают-

ся, цветочки не наклоняются. Я прозрачным облачком лечу. И дошла я до берега. Вода серебром отливат, золотом от солнца отсвечиват. А по воде лодочка плывет, лаком блестит. Парус у лодочки белого шелка и весь цветами расшит.

И сидит в той лодочке твой муженек, ручкой мне помахиват, зовет гулять с ним в лодочке...

Не пришлось голубушке свой сон досказать до конца.

Перва подруженька подскочила, буди ее подкинуло! Сначала задохнулась, потом отдышалась и во всю голосову силу крик подняла:

— Да как он смел чужой жоне во снах сниться. Дома спит, буди и весь тут! А сам в ту же пору к чужой жоне в лодочке подъезжат! Да и ты хороша! Да как ты смешь чужого мужа в свой сон пушшать! Я в город пойду, все управы обойду, добьюсь приказу, строгого указу, чтобы не смели мужья к чужим жонам во сны ходить.

НЕВЕСТА

Всяк знат, что у нас летом ночи светлы, да не всяк знат, с чего это повелось.

Что нам по нраву, на то мы подолгу смотрим, а кто нам люб, на того часто посматривам. В пору жониховску теперешна моя жона как-то мне сказала, а говоря, потупилась: «Кого хошь люби, а на меня чаще взглядывай». И что вышло? Любы были многи, и статны и приятны и выступью, и говором, а взгляну на свою — идет-плывет, говорит-поет, за работу возьмется — все закипит. Часто взглядывал и углядел, что мне краше не сыскать.

Моей-то теперешной жопой у нас весну делали, дни длиннили, ночи коротили. Делали это так. Как затеплило, стали девок рано будить, к окошкам гонить. Выглянут девки в окна, моя жона из крайнего окна, которо к солн-

цу ближе. Выглянут — день-то и заулыбается. Солнышко и глаз не щурит, а глядит во всю ширь. И — затает снег, сойдет, сбежит. Птицы налетят, все зарастет, зацветет. Девки день работают, песни поют. Вечером гулянкой пойдут — опять поют. Солнце заслушается, засмотрится и уходить не торопится. Девок домой не загнать, и солнце не уходит, да так все лето до осенних работ. Коли девки прозевают и утром старухи выглянут — ну тот день сморщен и дождлив. По осени работы много, в поле страда, девки уставать стали. Вот тут-то стары карги в окошки пялились и скрипели да шипели: «Нам нужен дождик для грибов, нам нужен дождь холсты белить».

Солнцу не было приятно на старых глядеть, оно и повернуло на уход. А по зиме и вовсе мало показыват себя: у нас те дни, в кои солнце светит, шчитаны. Мы шчитам да по шчету тому о лете соображам, како будет. Зима — пора старушья. Прядут да ткут и сплетни плетут.

* * *

Хороши невесты черноволосы, черноглазы — глядишь не наглядишься, любуешься не налюбуешься, смотришь не насмотришься. А вот на картинах, на картинках... Как запонадобится художнику изобразить красавицу из красавиц, саму распрекрасну, ее обязательно светловолосую, и глаза показывают не ночь темну, а светел день солнечной.

Это я просто так, не в упрек другим, не к тому, что наши северянки краше всех. Я только то скажу: куда ни хожу, куда ни гляжу, а для нашего глазу наших краше не видывал, опричь тех, что на картинах Венерами прозываются,— те на наших порато схожи.

Теперь-то и моя жона поубегалась, с виду слиняла, с тела спала. А оденется — выйдет алой зоренькой, пройдет светлым солнышком, ввечеру ясным месяцем прокатится. Да не одна она, я не на одну и любуюсь.

СОЛОМБАЛЬСКА БЫВАЛЬЩИНА

В бывалошно время, когда за лесом да за другим дорогим товаром не пароходы, а корабли приходили, балласт привозили, товар увозили,— в Соломбале в гавани корабли стояли длинными рядами, ряд возле ряду. Снасти на мачтах кружевьем плелись. Гавански торговки па разных языках торговаться и ругаться умели.

В ту пору в распивочном заведении вышел спор у нашего русского капитана с аглицким. Спорили о матросах: чьи ловчей? Англичанин трубкой пыхтит, деревянной мордой сопит:

— У меня есть такой матрос ловкач, на мачту вылезет да на клотике весь разденет себя. Сыщется ли такой русский матрос?

Наш капитан спорить не стал. Чего ради время напусто тратить? Рукой махнул и одним словом ответ дал:

— Все.

Ладно. Уговорились в воскресенье проверку сделать.

И вот диво: радио не было, телефону не знали, а на всю округу известно стало о капитанском споре и сговоре.

В воскресенье с самого утра гавань полна народом. Соломбальски, городски, из первой, второй и третьей деревень прибежали. Заречны полными карбасами ехали, наряды в корзинах на отдельных карбасах плавили. Наехали с Концов и с Хвостов — такие деревни живут: Концы и Хвосты.

От народу в глазах пестро, городски и деревенски вырядились вперегонки. Всяка хочет шире быть: юбки накрахмалили, оборки разгладили. Наряды громко шуршат, подолы пыль поднимают. Очень нарядно.

Мужики да парни гуляют со строгим форсом: до обеда всегда по всей степенности, а потом... Ну, да сейчас разговор не о том!

Дождались.

На кораблях команды выстроились. Агличанин своему матросу что-то пролаял. Нам на берег слышно только: «гау, гау!»

Матрос аглицкой стал карабкаться вверх и до клотика докарабкался. Глядим — раздевается, одежду с себя снимат и вниз кидат. Разделся и как есть нагишом весь слез на палубу и так голышом перед своим капитаном стал и тоже что-то: «гау, гау!». Очень даже конфузно было женскому сословию глядеть.

Городски зонтиками загородились, а деревенски подолами глаза прикрыли.

Наш капитан спрашиват агличанина:

— Сколько у тебя таких?

— Один обучен.

— А у нас сразу все таки.

Капитан с краю послал двух матросов на фок-мачту и на бизань-мачту.

А тут кок высунулся поглядеть. Кок-то этот страсть боялся высокого места. На баню вылезет — трясется. Вылез кок и попал капитану под руку. Капитан коротким словом:

— На грот-мачту!

Кок струной вытянулся:

— Есть на грот-мачту!

Кок как бывалошным делом лезет на грот-мачту. Смотрю, а у кока глаза-то крепко затворены.

На фок-мачте, на бизань-мачте матросы уж на клотиках и одежу с себя сняли, расправили, по складкам склали, руками пригладили, ремешками связали. На себе только шапочки с ленточками оставили, это чтобы рапорт отдавать — дак не к пустой голове руку прикладывать!

Коли матросы в шапочках да с ленточками — значит, одеты, на них и смотреть нет запрета.

А кок той порой лезет и лезет, уж и клотик близко,

да открыл кок глаза, оглянулся, у него от страху руки расцепились, и полетел кок!

Полетел да за поперечну снасть ухватился и кричит агличанину:

— Сделай-ка ты так!

Агличанин со страху трепещется, головой мотат, у него зубы на зубы не попадают, он что-то гаукат.

Аглицкой капитан рассердился, надулся:

— Как так, аглицкого матроса надобно долго обучать, а русски отроду умеют и даже ловче?

КАК СОЛЬ ПОПАЛА ЗА ГРАНИЦУ

(Сказку эту я слышал от Варвары Ивановны Тестовой в деревне Верхне-Ладино)

Во Архангельском городу это было. В таку дальну пору, что не только моей памяти не хватит помнить, а и бабке с пробабками не припомнить году-времени. Мы только со слов на слова кладем да так и несем: которо растрясется, которо до записи дойдет.

Дак вот жил большой богатой человек. Жил он лесом, в разны заграницы лес продавал. Было у такого человека три сына. Старшой да среднёй хорошо вели дело: продавали, обдували, обсчитывали и любы были отцу.

Младшему сыну торговля не к рукам была, ему бы песней залиться да плясом завиться. Да и дома-то он ковды-нековды оследится. Все с компанией развеселой время вел — звали этого молодца Гулёна. Парень ласковой, обходительной, на поклон легок, на слово скор, на встрече ловок. Всем парень вышел, только выгодных дел делать не умел.

Задумал большой человек сбыть парня Гулёну. И придумал это под видом большого дела. Отправил всех трех сыновей с лесом-товаром в заграницы.

Старшо́му (а был тот ледяшшой, худяшшой, до чужого жадный, загребушшой), ему отец корабль снарядил

дубовой, паруса шелковы, лес нагрузили самолутчой, первосортной.

Второй был раскоряка толстенной, скупяшшой-перескупяшшой. Про себя хвалился: «У скупа не у пета», а от него пикто не видал ничего.

Этому второму корабль был дан сосновой, паруса белополотняны, лес — товар второсортной.

А третьему, развеселому, снарядил отец посудину развалящу и таку дыряву, что из дыры в дыру светило, а вода как хотела, так и переливалась, рыбы всяки, как на постоялой двор, заходили, уходили.

В этой посудине пряма дорога на дно. Поверх воды держится, пока волной не качнет.

А товар нагружен насмех: горбыли, обрезки да стары кокоры, никуда не нужны которы, парусом — старый половик...

Никудышно судно снаряжено, товар никудышный нагружен. Вот как Гулёну на борт заманить?

Придумал богач тако дело: по борту развалящего суденышка наставил штофов, полуштофов с водкой, а на корму цельну четвертну. По-за бутылками зеркалов наставил. С берега видится, что все судно водкой полно..

Увидал Гулёна развеселый груз на суденышке, созвал, собрал своих приятелев-собутыльников, балагуров, песенников. Собрались, поглядели и песню запели:

Мы попьем, попьем,
Мы по морю сгуляём!

Отдали концы корабли и суденышко в одно время, в одну минуту. Ледяшшой, худяшшой да раскоряка толстяшшой большим передом опередили Гулёну и в море вышли. А Гулёна с товарищами-приятелями чуть двигаются, водку пьют, песни поют и не примечают, что идут десятой день девяту версту. Водку выпили, в море выплыли. А тут развернулась погодушка грозной бурею. Вода вздыбилась, волны вспенились.

Гулёна за борт выкинул горбыли, обрезки да стары кокоры. Порожно суденышко на воде, как чайка, сидит да но волнам летит. Гулёне с товарищами дело одно: хошь стой, хошь ложись, только крепче держись!

Ветер улетел, море отшумело, отработалось — в спокой улеглось.

Видит Гулёна: по переду судна на воде что-то очень белет и блестит, белет и сверкат и похоже на остров. Гулёна суденышком да о самой остров и пристал. А остров-то из чистой соли был.

Ну, мешкать не стали, дыры сквозны законопатили, соли нагрузили. Попутна вода да поветерь в заграницу суденышко пригнали. В гавани к стенке стали, люки открыли, солью торгуют.

Люди заграничны подходили, на язык соль брали, плевались, уходили.

Взял Гулёна малой мешок соли и пошел по городу. В городу, в самой середине, царь жил. У царя гостьба была, понаехали разны цари-короли. В застолье сели, обеда дожидаются, разговоры говорят, всяк по-своему.

Гулёна зашел в кухню. Сначала обсказал: кто и откудова и с чем приехал, соль показал. Повар соль попробовал:

— Нет, экой невкусности ни царь, ни гости цари-короли есть в жизнь не станут!

Гулёна говорит:

— Улей-ко в чашку штей!

Повар налил. Гулёна посолил.

— Отпробуй теперича.

Повар хлебнул да еще хлебнул, да и все съел.

— Ах, како скусно! Я распервеющий повар, а эдакого не едал!

Гулёна все, что нужно, посолил. Поварята еду на стол таскают — больши блюда, по пяти человек несут, а

добавошны к большим кажной по одному тащит, а добавошных-то блюдов по полсотни.

Мало погодя в кухню царь прибежал, кусок дожевыват и повару кричит:

— Жарь, вари, стряпай, пеки еще, гости все съели и есть хотят, ждут сидят. И что тако ты сделал, что вся еда така приятна?

— Да вот человек приехал из Архангельского городу и привез соль.

Царь к Гулёне:

— Много ли у тебя этой соли? И сколько чего хошь, чтобы мне одному всю продать! Други-то цари-короли еду с солью попробовали, им без соли ни быть ни жить больше. А как соль будет у меня одного, то буду я над всеми главным.

Гулёна отвечат:

— Ладно, продам тебе всю соль, но с уговором. Чтобы вы, цари-короли, жили мирно, без войны, всяк на своем месте, своим добром и на чужо не зариться,— на этом слово дай. Второ мое условие: снаряди корабль новой из полированных дерев с златоткаными парусами, трюма деньгами набей: передний носовой трюм бумажными, а задний кормовой золотыми. И третье условие — дочь взамуж за меня отдай, а то соль обратно увезу.

Царь согласился без раздумья. Делать все стал без промедленья. Скоро все готово. Корабль лакированный блестит, паруса златотканы огнем светятся.

Гулёна сам себе сватом к царской дочери с разговором:

— Что ты делать умешь?

Я умею шить, вышивать, мыть, стирать, в кухне обряжаться, в наряды наряжаться, петь да плясать.

— Дело подходяще, объявляю тебя своей невестой! Девка глаза потупила, сама заалела.

— Ты, Гулёна, царям-королям на хвосты соли насыпал, за это да за самого тебя я иду за тебя!

Пир-застолье отвели.

Поехали. Златотканы паруса горят· как жар-птица летит.

Оба старши брата караулили Гулёну в море у повороту ко городу Архангельскому. Увидали, укараулили и давай настигать. Задумали старши младшего ограбить, все богатство себе забрать.

Тут спокойно море забурлило, тиха вода зашумела, вкруг Гулёниного корабля дерево забрякало, застукало. Все хламье, что заместо товару было дадено: горбыли, обрезки да стары кокоры,— столпились у Гулёнина корабля, Гулёне как хозяину поклон приветной отдали да поперек моря вызнялись. Гулёнин корабль от бури и от братьев-грабителей высоким тыном загородили.

Море долго трепало и загребушшего, и скупяшшего. Домой отпустило после того, как Гулёна житье свое на пользу людям направил.

Время сколько-то прошло. Слышит Гулёна, что царь, которой соль купил, войну повел с другими царями. Гулёна ему письмо написал: что, мол, ты это делашь да думашь ли о своей голове? Слово дал, на слове том по рукам ударили, а ты слово не держишь. Царски ваши солдаты раздерутся да на вас, царей, обернутся.

Царь сделал отписку, послал скору записку. Написана на бумажном обрывке и мусленым карандашом:

«Я царь — и слову своему хозяин! Я слово дал, я вобратно взял. Воля моя. Мы, цари, законы пишем, а нам, царям, закон не писан».

Малы робята и те понимают кому закон не писан

РЕКА ДЫБОМ

Запонадобилась моей бабе самоварна труба, старато и взаправду вся прогорела, из нее огонь фыркал во все стороны. Пошел я в город. Хотя и не велико дело — труба, а все-таки заделье, а не безделье

Купил в городе самоварну трубу бабе, купил куме, сватье, соседке. Подумал: всем бабам разом понадобятся трубы — купил на всю Уйму Закинул связку самоварных труб за спину и шагаю домой День жаркий, я пить захотел. По дороге речка. В обычно время ее не очень примечал, переходил и только На тот час речка к делу пришлась. Взял я самоварну трубу, концом в воду поставил, другой конец ко рту

Не наклоняться же за водой в речку, коли труба в руках.

Мне надо было воду в себя потянуть, а я всем нутром, что было силы, из себя дунул!

Речонка всколыхнулась, вызнялась дугой высокой над мокрым дном. Я загляделся и про питье позабыл. Всяко со мной бывало, а тако дело в первый раз. А речка несется высоко над моей головой, струйками благодаренье поет и будто улыбается, так она весело несет себя! Каки соринки, песчинки были в речке – все вниз упали, сол нышко воду просветило, ну быдто прозрачно золото на синем небе переливается!

Вдруг полицейской налетел, диким голосом закричал.

— По какому такому полному бесправу выкинул речку сушить? Я тебя арестую и заставлю штраф платить!

Я под речкой пробежал на ту сторону.

— Ты сперва меня достань, а потом про штраф толкуй!

Полицейской только успел на дно речкино обеими ногами ступить, я речку бросил на землю. Речка забурлила в своих берегах, полицейского подхватила и в море выкинула.

Одним полицейским меньше стало. А мне обидно что не успел ново дело народу хорошему показать.

В Уйме обсказал мужикам. Словами говорил, руками показывал, а мужики все твердят·

— Да как так? Как река текла, как рыба шла?

Роздал всем мужикам по самоварной трубе, рассказал

что надо делать. Выстали мы по берегу у самого города, трубы в воду поставили одним концом. По моему указу (я рукой махнул) все мужики со всей мужицкой силой разом дунули!

Река и вскинулась над городом дугой-радугой.

Весь ил, весь песок на дно упали. Вода несется, переливается, солнцем отсвечиват. Рыба вся на виду. Мелка рыбешка крутится во все стороны, крупна рыба степенным ходом вверх по реке идет.

Река одним концом к морю, другим концом к нашей деревне, к Уйме. Которы рыбы жирностью да ростом для нас подходящи, те сами к нам подходили. Мы их с ласковым словом легким ловом перенимали на пироги, на уху, на засол, на угощенье хороших людей. В продажу не пускали.

Рыбу нам река дала в благодаренье за проветриванье. Река нам рыбу дарила, а дареным мы не торгуем, а угостить хорошего человека всегда рады.

Городски купцы на мель сели: у которого пароходы, у которого баржи с товаром, у которого лес плотами сплавлялся, а которы около других наживались.

Забегали купцы к начальству с жалобами.

— Сколько нашего богатства в реке пропадат!

Купечески убытки чиновникам не в печаль. Чиновники найдут, что с купцов содрать. А вот рыба в воде вся на виду, а на речном дне всякого дорогого много накопилось — это чиновники хорошо поняли. Ведь еще не было такого дела, чтобы реку с места подымали и богатства со дна реки собирали.

Скорым приказом по берегу стражу расставили. Строго заказали никого на дно не пускать!

На высоки крыши лестницы поставили. Чиновники в реку удочки закидывали. Просто дело для чиновников было ловить рыбу в мутной воде. А в проветренной, солнцем просветленной кака рыба на удочку пойдет? Рыбья

мелкота издевательски крутится, а крупна большим размахом хвостом махнет, чиновников-рыболовов водой обольет и дальше идет.

Чиновники приказы написали, к приказам устрашающи печати наставили.

В приказах рыбам были указы: каким чинам кака рыба ловиться должна. С высоких лестниц приказы в реку выкидывали.

Для рыб чиновничьи приказы были делом посторонним.

Приказы с печатями устрашающими на мокро дно падали, грязи прибавляли.

Собрались чиновники на берегу, сговорились, кому како место на дне обшаривать.

Бросились чиновники, больши и малы, с сухого берега по илистому дну ногами шлепать, руками грязь раскидывать.

Мы, мужики, поглядели и решили: таку грязь, такой хлам оставлять нельзя.

Разом трубы отдернули.

Река пала на свое место, всех чиновников, больших и малых, со всей донной грязью подхватила и в море выкинула!

Без чиновников у нас житье было мирно. Работали, отжились, сытыми стали.

В старо время мы себя сказками-надеждами утешали.

В наше время при общем народном согласье и реки с нами в согласье живут. Куда нам надо, туда и текут. И рыбу, каку нам надо и куда нам надо, туда и несут.

ЛЕНЬ ДА ОТЕТЬ

Старинная пинежская сказка, коротенька

Жили были Лень да Отеть.

Про Лень все знают: кто от других слыхал, кто встречался, кто и знается, и дружбу ведет. Лень — она при-

липчива. в ногах путается, руки связыват, а если голову обхватит, спать повалит.

Отеть Лени ленивей была.

День был легкой, солнышко пригревало, ветерком обдувало.

Лежали под яблоней Лень да Отеть. Яблоки спелы, румянятся и над самыми головами висят.

Лень и говорит:

— Кабы яблоко упало мне в рот, я бы съела.

Отеть говорит:

— Лень, как тебе говорить-то не лень?

Упали яблоки Лени и Отети в рот. Лень стала зубами двигать тихо, с передышкой, а съела-таки яблоко.

Отеть говорит:

— Лень, как тебе зубами-то двигать не лень?

Надвинулась темна туча, молнья ударила в яблоню. Загорела яблоня, и большим огнем. Жарко стало.

Лень и говорит:

— Отеть, сшевелимся от огня. Как жар не будет доставать, будет только тепло доходить, мы и остановимся.

Стала Лень чуть шевелить себя, далеконько сшевелилась.

Отеть говорит:

— Лень, как тебе себя шевелить-то не лень?

Так Отеть голодом да огнем себя извела.

Стали люди учиться, хоть и с леностью, а учиться. Стали работать уметь, хоть и с ленью, а работать. Меньше стали драку заводить из-за каждого куска, лоскутка.

А как лень изживем — счастливо заживем.

СПЛЮ У МОРЯ

Анне Константиновне Покровской

День проработал, уработался, из сил выпал, пора пришла спать валиться. А куда? Ежели в лесу, то тесно: ни тебе растянуться, ни тебе раскинуться — дерева мешают, как повернешься, так в пень али во ствол упрешься. Во всю длину не вытянешься, просторным сном не выспишься. Повалиться в поле — тоже спанье не всласть. Кусты да бугры помеха больша.

Повалился спать у моря. Песок ровненькой, мягонькой. Берег скатывается отлого. А ширь-то — раскидывайся, вытягивайся во весь размах, спи во весь простор!

Под голову подушкой камень положил, один на двух подушках не сплю, пуховых не терплю, жидкими кажут. На мягкой подушке думы теряются и снам опоры нет.

Улегся, вытянулся, растянулся, раскинулся — все в полну меру и во всю охоту. Только без окутки спать не люблю. Тут мне под руку вода прибыла. Ухватил воду за край, на себя натянул, укутался. И так ладно завернулся, так плотно, что ни подвертывать, ни подтыкать под себя не надо. Всего обернуло, всего обтекло.

И слышу в себе силу со всей дали, со всей шири. Вздохну — море всколышется, волной прокатится. Вздохну — над водой ветер пролетит, море взбелит, брызги пенны раскидат.

Спал во весь сон, а шевелить себя берегся. Ежели ногой двину — со дна моря горы выдвину. Ежели рукой трону — берега, леса, горы в море скину.

Сплю, как спится после большой работы,— сплю молча, без переверта.

Чую, кто-то окутку с меня стягиват. Соображаю во сне: что за забаву нашли отдыху мешать? Я проснулся вполпросыпа. Глаза приоткрыл и вижу — солнце-то что вздумало?

Солнце дошло до края моря, на ту сторону заглядыват, ему надо было поглядеть, все ли там в порядке, а чтобы на той стороне долго не засидеться, солнце ухватилось за воду, за море, за мое одеяло — с меня и стаскиват.

Я за воду, за край ухватился, тут межень прошла; вода прибыла, я море опять на себя натянул, мне поспать надо, я ведь недоспал.

Солнце вверх пошло, меня пригрело. Я выспался так хорошо, что до сих пор устали не знаю.

Старики говорят: один в поле не воин. Я скажу — один в море не хозяин. Кабы в тогдашне время мог я с товарищами сговориться, дак мы бы всем работящим миром подняли бы море краем вверх, поставили бы стоймя и опрокинули бы на землю. Смыли бы с земли всех помыкающих трудящими, мешающих налаживать жизнь в общем согласье.

Да это еще впереди.

Теперь-то мы сговоримся.

ОЧЕРКИ

Я ВЕСЬ ОТДАЛСЯ СЕВЕРУ

Странички из дневника

Яркий звонкий юг мне кажется праздником шумным — ярмаркой с плясками, выкриками — звонкий праздник!

Север (Арктика) — строгий, светлый огромнейший кафедрал. Простор напоен стройным песнопением. Свет полный, без теней. Мир только что создан. Для меня Арктика — утро Земли. Жизнь на Земле только что начинается. Там теряется мысль о благах обычных, так загораживающих наше мышление. Если в Арктике быть одному и далеко от жилья — хорошо слушать святую тишину. Незакатное солнце наполняет светом радости.

* * *

Север своей красотой венчает земной шар...

Для знакомства с югом дважды был в Египте (1905—1907 гг.), был в Греции, в Италии, был в Самарканде. Хотел побывать в Индии, Китае, но солнце слишком жгло.

На Севере лучи солнца более косые, спектр лучей более многогранен. В летние солнечные ночи солнце не просто светит, солнце поет! В зимнюю пору Север богат серебристыми жемчужными тонами.

В Риме меня просили научить серебристым тонам. Я ответил: «Это дает Север...»

* * *

В своих картинах я весь отдался Северу. Я здесь родился и вырос. Пока не был на юге, я вместе со всеми твердил о «сером севере», о «солнечном юге» и другую такую же чепуху. В 1905 году попал на юг. Проехал до Египта. По пути останавливался в Константинополе, Бейруте. С этюдником бродил но Палестине. Был в Италии, в Греции. По, вероятно, это не то, что меня могло увлечь.

Красиво на юге, но я его не чувствовал, смотрел, как на декорации. Как на что-то ненастоящее. Через три месяца стал скучать, а через пять месяцев я был болен ужасной болезнью — тоской по родине.

Из Каира я торопился домой — к солнцу, к светлым летним ночам. Увидел березки, родные сосны. Я понял, что для меня тоненькая березка, сосна, искривленная бурями, ближе, дороже и во много раз красивее всех садов юга...

НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ

Из записок художника

Первый раз я ехал на Новую Землю в 1905 году на пароходе «Великий князь Владимир». В первом классе было только два пассажира — правитель канцелярии губернатора и я. Это единственная поездка на Новую Землю, когда на пароходе были свободные места.

Вышли на Канин Нос. Буря будто ждала нас. Тишина

Белого моря оказалась затишьем. За Каниным Носом море сделало «заготовку» и рвануло ветром, ревом. Пароход кидался, пытался опрокинуться.

В те годы были три становища, куда заходил пароход: Белушья Губа, Малые Кармакулы и Маточкин Шар. Были промысловые избушки в разных местах и на Карской стороне. Пришлось видеть избушки-вежи. Часто это было подобие шалаша из леса-плавника и старых оленьих шкур. В такую избушку забирались только спать или переждать непогодь.

* * *

Белушья Губа.

С берега послышалась ружейная стрельба и ударила пушка. Это приветствовали наш пароход.

По берегу носились собаки, подбегали к воде, входили на шаг-два в воду и лаяли разноголосно, звонко. Собаки, приехавшие из Архангельска, отвечали лаем с взвизгиванием...

«Владимир» отгремел якорем, прогудел свистком и стоял в тихой бухте. С берега торопились гости...

Спокойные линии невысоких гор, редкие пятна снега. Несколько серых домиков, чумы. У самого берега склад. Захотелось идти по этой земле и послушать тишину...

В Белушьей Губе я впервые увидел ползучие деревья. Ива в местах, защищенных от холодного ветра, подымает ветки. Ствол ивы плотно прижат к земле.

Я видел много цветов — ярких, пахучих. Их век короток, как коротко и лето за Полярным кругом. Но цветы успевают вырасти, расцвесть, дать семена.

На Карской стороне льды надвинулись на берег, а на берегу, почти рядом со льдами, крупные белые ромашки с оранжевыми серединами. Полярные маки, бледно-жел-

тые на мохнатых стебельках, встречались и на мысе Желания

* * *

Выгрузка и погрузка шли своим чередом. Губернаторский чиновник, весь перепачканный, вылез из-под дома.

— Что вы там делали?

— Идолов искал. Обещал архиерею привезти. Не могу найти, а есть, знаю, что есть...

Идолы были. Мне их показали — замазанных салом, закопченных.

— Где вы их прятали? Чиновник все перерыл, всюду лазил.

— Под собакой со щенятами. Собака чиновников-начальников не подпустит,— отвечали мне ненцы.

* * *

Третья остановка — Маточкин Шар.

Горы Три Брата закрыты тяжелыми снежными тучами. Пила-гора стояла свободная. Белая полоска, как тропинка, шла по уступам хребта горы. По этой тропе легко подняться до вершины. На полдороге была небольшая туча,— прошел как через холодный туман. Низко идущие тучи местами закрывали землю и море.

Бывая на юге, я нередко слышал восклицания: «Ах, как красиво!» Красота Новой Земли иная. Сады на берегах Средиземного моря, ботанический сад в Каире — это казалось звучным, нарядным, как карусель пестрая с шарманкой.

Об Арктике кто-то хорошо сказал:

— Кто побывал в Арктике, тот становится подобен стрелке компаса — всегда поворачивается к Северу.

* * *

На лето в 1905 году я остался в Кармакулах.

Промышленники ушли на промысел. В становище остались старики да ребята.

Первой гостьей ко мне пришла старуха Маланья. В нарядной панице из белых камусов, расцвечённой полосками цветного сукна, Маланья села на пол у самой двери.

— Здравствуй, художник!

— Здравствуй, Маланья! Проходи, сядь к столу.

Маланья, медленно раскачиваясь, затянула что-то мало похожее на песню.

— Аа... ааа... аа...

— Маланья, тебе нездоровится? У тебя живот болит?

— Что ты! Я здорова. Я пою.

— Пой, пой, я послушаю.

— А ты что не спросил, что я пою?

— Скажи, пожалуйста, Маланья, о чем ты поешь?

— Я, Маланья, к художнику в гости пришла. Художник мне чарку нальет. Я выпью, мне весело станет...

— У меня другая песня есть,— отвечаю я гостье.

— Какая у тебя песня?

Подражая пенью Маланьи, я запел:

— Ко мне Маланья в гости пришла. У меня самовар кипит. Я заварю чай, буду гостью чаем угощать. Чай с сахаром, с вареньем, с сухарями, с конфетами, а водки у меня нет...

— Худа у тебя песня.

Обиженная гостья перевалилась через порог и колыхаясь, пошла домой. На мой зов не отозвалась.

Пришел старик Прокопий, муж Маланьи. От чаю отказался. Долго сидел молча, ждал от меня другого угощенья. Не вытерпел — заговорил:

— Ты что не наливаешь-то?

— У меня водки нет.

— Ну как так нет? У нас таких людей не бывало, приезжих. С Большой Земли с водкой приезжают. Налей, я что хошь дам. Все нутро в огне.

— Понимаю, да нет у меня водки.

— Налей стакан. Я тебе песца дам. Шкуру медведя дам, гольцов дам, денег дам.

Старик достал золотую монету, протягивает мне.

— Возьми, только налей стакан.

— Нет у меня водки. Сам не пью и не взял с собой.

Обиделся старик, поднялся и ушел не прощаясь.

Дня через три я пришел к старикам. Мне хотелось побывать на птичьем базаре.

Прокопий уже поправился после похмелья. Лечился кислой капустой. Посмотрел хитро и спросил:

— А ты что заплатишь?

Все, что у меня было, мало могло соблазнить старика. Были у меня деньги — пять серебряных рублей. Я не собирался что-либо покупать на Новой Земле. Решил отдать три рубля. Два останутся на питание в дороге до Архангельска.

Достал три рубля, протянул Прокопию.

— Вот возьми деньги и свези меня.

Взял старик монеты, положил в рот, причмокнул и вынул.

— Не сладко.

Положил монеты на колено.

— Не тепло.

Прокопий сел на три серебряных рубля, поуминался на стуле.

— Не мягко. На что мне они? Возьми себе. А на птичий базар я и так свезу.

Явилась мысль — если бы серебряных рублей у меня было много, очень много, я был бы только сторожем: ни сесть, ни съесть, ни одеться, ни укрыться.

* * *

Через два года я второй раз приехал на Новую Землю.

Старик Прокопий, здороваясь, погладил меня по лицу. В этом была большая ласка, выражение большой радости,— во мне не было протеста.

Старик говорил:

— Не только сердце обрадовалось, глазам весело, что ты приехал.

Мне подарили тобоки (полупимы),— их приготовили, чтобы послать мне в Архангельск.

— За что подарок мне? И за что так встречаете?

— За то, что ты не винопродавец...

* * *

На птичий базар я попал. Для этого не понадобилось ни денег, ни водки. Непуганые птицы не понимали опасности, спокойно сидели на гнездах. Я протянул руку. Гагарка не улетела, она прижалась к руке.

Я не охотник. Успехи моих спутников, бивших птиц на корм собакам, меня не радовали.

На одном птичьем базаре я видел полярную сову. Сова медленно рвала гагарку. Остальные спокойно сидели на гнездах: их много, и опасность быть съеденными не очень велика.

Много раз пришлось побывать на Новой Земле с 1905 года до 1945 года. На птичий базар больше не ездил. Если бы можно было побыть на острове среди птиц без охотни ков, без сборщиков яиц!

* * *

В полночь солнце было близко к воде. Солнечные лучи пробежали по самой земле, пронизали стебельки цветов и

травы Цветы и травы засветились, как самоцветы. Свет над ними переливался широкими розовыми радугами И тишина казалась светящейся, как все кругом.

На крутом берегу над морем сидел молодой ненец и что-то пел. Ненец слышал, что я подхожу, но не обернулся, не перестал петь. Он мне доверял. Я сел рядом. Море перед нами золотилось переливчато.

Песня ненца не мешала тишине, казалось — свет и в песне.

Я долго слушал и спросил:

— Скажи, о чем ты поешь?

- Так, пою о том, что вижу.

— Скажи мне русскими словами, о чем поешь!

— Ладно, скажу, слушай.

Ненец запел русскими словами. Его пенье не мешало светлой тишине. Ненец пел:

Вышел я ночью на гору
Смотрю на солнце и на море.
А солнце смотрит на море и на меня
И хорошо нам втроем·
Солнцу, морю и мне.

Солнце заметно поднялось над морем — начинался новый день.

Я тихо поднялся. Ненец пел по-своему, по-ненецки. Когда я ушел далеко, и ненец не мог меня слышать, я повторил его песню:

Хорошо нам втроем·
Солнцу, морю и мне!

* * *

Под горой у берега припай льда. С припая выполоскал белье. Вода чистая, прозрачная, на дне видны все камешки. Рейкой смерил глубину - глубина подходящая, немного

не до плеч. Снял шубу, стоя на шубе разделся и в воду

Ледяные стрелки верхнего слоя пресной воды разбежались в стороны. Казалось, ледяные иглы вонзились в меня. Я нырнул и подождал, чтобы вода надо мной успокоилась.

Выбрался на лед. Надо было размахивать руками, бегать. Чуть согрелся, надел валенки, шубу накинул на голое тело. Остальную одежду и выполосканное белье схватил охапкой и — домой.

Самовар уже кипел. Напился чаю и спать.

Утром открываю глаза. Около меня стоит старик. Озабоченно спрашивает:

— Болен?

— Болен.

— Что чувствуешь?

— Есть хочу.

Два с половиной месяца почти ежедневно купался. Пропускал дни больших ветров. Первый снег не мешал купанью.

В 1913 году в журнале «Аргус» помещена моя фото графия. Я сижу па льдине, и подпись: «Художник N. нагуливает здоровье».

В первые дни я собрался идти подальше от становища. Увидела Маланья, заколыхалась, заторопилась, догнала.

— Ты куда пошел?

— На Чум-гору.

Посмотрела Маланья на мои ноги — я был в ботинках

— Обратно как пойдешь? Боком перекатывать себя будешь? — Маланья объяснила, что на острых камнях ботинки скоро порвутся.

— Я тебе пимы принесу.

Подождал. Маланья принесла новые пимы из нерпы с подошвой из морского зайца.

— Одень. В этих пимах и по камешкам хорошо, и по воде можно ходить.

А сколько стоят пимы?

— Полтора рубля.

Мне это показалось дешево. Удивление вылилось вопросом:

— Оба?

Маланья засмеялась долгим смехом, даже села на землю. Отмахиваясь руками, раскачивалась. И сквозь смех сказала:

— Нет, один ним! Один ты оденешь, один ним я одену. Ты шагнешь ногой, и я шагну ногой Так и пойдем.

Посмеялась Маланья и рассказала старинную ненецкую сказку о людях с одной ногой, которые могут ходить только обнявшись

— Там живут любя друг друга. Там нет злобы. Там не обманывают,— закончила Маланья и замолчала, задумалась, засмотрелась в даль рассказанной сказки.

Долго молчала Маланья.

Собаки угомонились, свернулись клубками, спят Только уши собак вздрагивают при каждом новом звуке.

— Ты думаешь, в сказках все сказка? – снова заговорила Маланья.— Я думаю, и правда есть.

— Расскажи еще. Ты много знаешь старых сказок?

— Много знала, да потеряла. Живу давно, иду долго, по дороге и потеряла много.

* * *

Поехал я на два месяца, продуктов взял на четыре Лишнее всегда пригодится остающимся. Не взял керосину, не взял дров и теплой одежды для зимы. Была у меня шуба, теплая шапка, но для зимы все это легкая одежда.

Начал готовиться к зимовке. Надо запасти дров. У берега было много плавника. Сталкивал бревна в воду, кое-как подгонял ближе к дому, распиливал и втаскивал в гору к дому. Много запасти не было силы и времени. Месяца на два-три запас.

С наступленьем темных ночей пришли и ветры, будто сговорились.

Несколько дней штормовой ветер не выпускал из дому. Ветер порывами наваливался на дом, пытался сбросить с места. Дом вздрагивал, отвечал не то вздохами, не то стонами. Наконец ветер успокоился.

Я пошел делать зарисовки.

Большие пятна сгустками крови краснели на камнях.

Подошел ближе. Это камнеломка в осеннем расцвете — увядании. Листья желтеют и проходят всю гамму красных тонов. Яркое увядание камнеломки, похожее на цветение, разгоняло безнадежность, громко говорило о радости жизни, о силе жизни. В темном пейзаже увядающая камнеломка радовала больше весеннего цветения на юге.

Ненцы ждали с Большой Земли продуктов на зиму. Кто-либо из ненцев дежурил на высоком месте, всматривался в море.

Пароход! Пароход идет!

Становище ожило. У всех оказалось много дела, хлопот

Сколько я ни всматривался в море — ничего не видел.

– Да ты носом нюхай. Дымом пахнет Глазом-то и мы не видим.

* * *

В том же 1905 году познакомился с Тыко Вылкой. Картины Вылки меня поразили глубоким пониманием полярного пейзажа. Картины были исполнены карандашом и акварелью. Исполнение было неровное. Рядом с утонченнейшими акварелями, напоминающими лучших мастеров, были резко набросанные черные горы, скалы. В них надо было вглядеться, смотреть надо было иначе, чем обычные, привычные глазу пейзажи. Особенно радовали и запомнились «Жонка ловит рыбу» и «Ночь летом».

«Жонка ловит рыбу» — непосредственная передача

виденного, прочувствованного. Мягкие линии невысоких гор обступили залив. Лодка. Ряд поплавков. Рыбачка наклонилась над сетью.

«Ночь летом» — маленький островок, тихая вода, над островком два легких розовых облачка.

Вылка стремился на Большую Землю, в Москву. Хотелось отговорить, посоветовать окрепнуть в своих работах, окрепнуть в своих достижениях и тогда ехать.

В те недавние и, кажется, такие далекие от нашего времени годы не было бережного и заботливого отношения к самобытным художникам, выходящим из малых народов, как сейчас. К сожалению, в Москве Илья Константинович пережил много горьких минут.

* * *

В одну из поездок на Новую Землю пришлось ехать с губернатором Сосновским.

Преисполненный довольством, высокий чин заговорил о целях своей поездки. Его не смущало, что его слова будут слушать и пассажиры второго класса, и даже пассажиры трюма, палубы, пассажиры третьего класса. Под мерный шум машины, под журчание воды, рассекаемой пароходом, губернатор говорил:

— Я еду — я получаю прогонные с каждой версты за двенадцать лошадей! За двенадцать лошадей с каждой версты! — Хмельной властелин Севера просто думал вслух: — Еду по морю, а версты считаются, прогонные сосчитываются. И море милое, тихое. Мне это нравится. Я доволен!..

На пароходе ехала одна женщина — учительница, туристка.

Море проявило непочтительность к губернатору, подняло волны и сильно раскачивало пароход.

Капитан распорядился перевести пассажирку в почто-

вую каюту. Каюта была на верхней палубе, в ней менее укачивало.

Первый класс был занят чинами разных достоинств.

Капитан распорядился поставить охрану к каюте пассажирки. Это оказалось не лишним. Ночью, несмотря на качку, чиновники пытались навестить одинокую путешественницу. Крепкие руки моряков помогли кавалерам вернуться на свое место.

На Новой Земле один чиновник показывал шкурки пыжиков, полученные «в подарок».

Ненец, чьи шкурки показывал чиновник, стоял тут же и, качая укоризненно головой, тихо сказал:

— Что ты наделал? Зачем взял? Я бы тебе сам отдал. Теперь злой дух в этих шкурах, и худо тебе будет от злого духа. Кабы я подарил тебе, тогда бы светлый дух был с тобой и хранил тебя.

Ненец не знал чиновничьих правил: украл — значит, получил в подарок.

О поездке губернатора промышленники говорили:

— Всякие напасти бывают — ныне проехал губернатор...

* * *

В 1924 году основано становище Красино.

Интересно было наблюдать выбор места для нового поселка. «Сосновец» медленно продвигался. На мостике стояли два Воронина — капитан «Сосновца» Владимир Иванович и Яков Федорович. Воронины молча всматривались в берега. Иногда тот или другой делали чуть заметное движение, как бы указывая место.

Баржу с материалом для построек нового становища подвели к берегу. Началась выгрузка. Зашумели пароходные лебедки, шум разносился далеко в прозрачной тишине...

Баржа с грузом на Новую Землю. Это был первый опыт по плану В. И. Воронина.

Явился вопрос — как быть с баржой? На тихую погоду в обратном пути трудно было надеяться. Комсостав взялся доставить баржу в Архангельск.

Во время бури баржа за кормой парохода сильно вскидывалась, толстый трос стал перетираться. В. И. Воронин перекинулся через фальшборт. Одной рукой держался за стойку фальшборта, другой рукой обматывал тряпками трос. Корма «Сосновца» подымалась, и Владимир Иванович висел над крутящимся винтом парохода. Корма шла вниз — Владимир Иванович погружался в воду.

Дело сделано, трос укреплен.

В Архангельске шли мимо судоремонтного завода. «Сосновец» сбавил ход. Короткая команда с мостика — и баржа стала плотно к стенке.

Скупы северяне на выражение похвалы. А стоявшие на берегу аплодировали.

* * *

В 1935 году я взял с собой кукольный театр.

Первое представление было на острове Колгуеве Комсомольцы, учитель и работник метеостанции после одной репетиции полностью усвоили роли.

Оповестили жителей. Ненцы — ребята и взрослые — наполнили помещение. Над ширмой появились Петрушка, Матрешка, Бузилкин, Томми (чернокожий), ненец, охотник и другие. Было заметно, что зрители заинтересованы.

После спектакля водившие кукол вышли к публике. Петрушка и Матрешка были надеты на руки, Матрешка держала коробку с конфетами, а Петрушка раздавал конфеты.

— Кукла! Кукла!

Эта часть спектакля была встречена особенно весело

и шумно. Пришлось повторить спектакль. Зрители уже отвечали куклам и долго обсуждали увиденное.

На Новой Земле во всех становищах были спектакли. За неимением большого помещения сценой служила вход ная дверь какого-либо дома. Дверь открывали, вместо ширмы укреплялось одеяло — и сцена готова.

* * *

Арктика обжита, перестала быть далекой.

В 1945 году я сошел в становище Белушья Губа. Много оказалось знакомых. Встретили с настоящим русским радушием.

В Кармакулах полярник М. Геннадиев приехал на своем моторе и позвал нас всех к нему в гости.

Геннадиев уезжал на Большую Землю. Пять лет он прожил в Кармакулах. Устал. Ему хотелось домой, в среднюю полосу. Хотелось видеть сады и все-все, что он не видел пять лет.

Это было в 1945 году, а через год Геннадиев снова уехал на Новую Землю. Заменивший Геннадиева по дороге много рассказывал о своей солнечной родине. Рассказывал хорошо, неторопливо. Но он ехал в Арктику. Уже много раз он был в разных местах Арктики. Выезжал. И снова тянуло

Подтверждаются слова: «Побывавшие в Арктике уподобляются компасной стрелке — всегда поворачиваются на Север»

В Маточкином Шаре встретили также радушно, тепло. Легко работалось при хорошем отношении. Написал ряд картин «Лето на Новой Земле», «Рошаль» у берегов Новой Земли». «Рошаль» во время Отечественной войны обслуживал промысловые становища Новой Земли. Был под обстрелом, но благополучно ускользал от вражеских снарядов и успешно выполнял задания.

* * *

На мысе Желания, вблизи от места зимовки Седова, есть нагромождение камней, обточенных водой. Камни большие, будто груда застывших чудовищ — днем это интересно. Раз я увлекся работой над картиной «Место зимовки Г. Я. Седова», задержался среди нагромоздившихся камней... Время осеннее. Ночи уже темные. Кончил работу. Было сумеречно. Камни будто готовы двинуться с места, насторожились, ждут сигнала.

* * *

На северной оконечности Новой Земли, на мысе Желания, поставлен памятник В. И. Ленину.

На вопрос: «Кто поставил памятник?» — мне сказали: «Все».

Перед жилым домом поставили постамент, обили кровельным железом, покрасили красной краской и на нем укрепили бюст.

На самой северной точке Новой Земли, на Великом Сибирском пути, стоит памятник Ильичу.

ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВИЧ ВЫЛКА

Или просто Тыко Вылка. Познакомился с ним в 1905 г на Новой Земле. Показал мне Тыко свои работы. Уже тогда это был большой мастер. Работы Вылки поражали неровностью: то детски неумелые, то сильные, полнозвучные, как работы культурнейшего европейца, в тонком рисунке, легких и прозрачных тонах. Но все это было. Большим мастером был Вылка до поездки в Москву.

Оставил я Вылке краски. А на просьбу «научить» — как мог, убеждал не учиться. Слишком самобытен он, и верным природным чутьем сам находил свою дорогу. Говорил я Вылке, что мы, приезжие, не знаем Новой Земли так, как он знает, и без наших указаний он лучше

сделает. Но захотелось нашим меценатам вывезти в Москву Вылку, показать как чудо...

Увезли на целую зиму. С Новой Земли, от скал, льдов, штормов, от зимы-ночи с северным сиянием, от лета-дня с солнечными ночами. Увезли в сутолоку так называемой культурной жизни. Все поражало Тыко Вылку, впрочем, тут уж он стал Илья Константинович. Увидав впервые леса и кусты на берегу, Вылка приуныл: «Ой, какой земля лохматый!»

В Москве, став центром внимания, а чаще просто любопытства, Вылка сразу взял верный тон и любопытствующих рассматривал, как показывающихся. Самое большое впечатление произвела на него опера: «Как скаска, луцсе сем сон видишь!»

Кино тогда не понравилось. Узнав, что «жизненность» кино происходит от быстрой смены картин, заявил: «Обман один».

Много курьезов было. Не пощадили Вылку «культурные люди». Какая-то барышня или вдова хотела замуж за него выйти (временно). Посмотрел Илья Константинович на перетянутую в корсете фигуру и просто заявил: «Не хосю, ты ненастоящая зенсцина. Тут тонко, тут сыроко».

А обученье? Тут очень неладное случилось. Заняться серьезно, внимательно отнестись к Вылке было некому или не было времени. Стали учить по общему рецепту. Для Вылки этот рецепт оказался убийственным. С одной стороны — выставка рисунков и «картин», и успех, и шум в печати, с другой — его же учат как совсем неумеющего.

Неохотно показывал Вылка свои московские работы.

— Ну сто, тут больсе хозяин делал. Да и худо это.

Хозяином он звал учителя.

Из Москвы вернулся Илья Константинович просто великолепным: черный плащ с золотыми пряжками, на

голове котелок и в пенсне (это, как многие, для «умного вида»)!

...Вместо непосредственного творчества занялся Вылка писанием «картинок». Покупают, попросту берут, кто увидит из приезжих,— платят табаком, консервами. Хочется Вылке устроить выставку своих работ, хочется собрать их побольше — да как соберешь, как не отдашь?

Прошлым летом встретился с Вылкой в Белушьей Губе. Все тот же Тыко Вылка, так же топорщатся усы. Одет во френч, на карманах френча налеплены пряжки от черного плаща. Показал Вылка свои работы — лучшие уже были отобраны у него.

— Я все спрасывал про тебя, зыв — говорили. А последние годы уз громко слысно стало. Все здал, а ты и приехал!

В разговоре Вылка спросил:

— Стоит ли продолжать рисовать?

Вопрос большой, вызванный беспощадной самокритикой. В таких случаях всегда легко убедить не бросать работу. За рисунки дают табак, молоко... А еще лучше собрать побольше рисунков да послать в краеведческое общество. Быть может, устроят выставку, или пошлют на выставку, или смогут продать.

Понадобился Вылка кинооператорам для съемок. Разом сообразил, что надо делать, и очень хорошо разыграл сборы па охоту: запряг собак, собрал все нужное, выехал на большой припай снега у берега и «помчался па охоту». Потом проделал все как на охоте: высматривал зверя, стрелял и т. д. И наконец — «возвращение с охоты». Играл Вылка с увлечением, знал, что его увидят в Москве и за границей...

«ПУШКИНИСТЫ» НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ

В 1905 году я жил на Новой Земле в становище Малые Кармакулы.

Промышленники готовились за зверьем. Проверяли и налаживали нехитрые по тому времени принадлежности промысла. Сели покурить. Вытащили кисеты с махоркой.

— Ну, робята, у ково бумага подходяща?

Откликнулся Варламка:

— На, у меня цельна книга на цигарки взята.

Старик Николаич взял книгу, стемнел весь, сердито вскинул глазами на Варламку.

— Сказывай, где взял?

— Да я, дяинька, ништо, я в избе взял, тамотка валялась. Дяинька, да книга-то ишь трепана, ее не жалко и рвать.

Николаич сжал тяжелый кулак:

— Счастье твое, Варламка, что не почал рвать. Так бы я нарвал тебя, разом забыл бы курево! Ты прочитай, чье это писанье. Ну!

Варламка, с трудом складывая буквы в слоги, медленно прочел:

— Сы-о-со-чи-и-н-е-не — сочинение Аа-сы-пы-у-ш Пушкина! Его я знаю, дяинька, ишшо вчерась ты здорово жарил наизусть «Евгения Онегина».

— То-то,— жарил наизусть «Евгения Онегина». Вот бить надобно бы, да не тебя,— ты в возраст входишь, а грамоты у тебя — ой-ой! Долго ли учился?

— Зиму ходил.

— Ладно. Знаем. Большак ты, семьи кормилец.

Николаич развернул книгу и обратился к артели:

— А что, браты, пока тишь да светлось, не прочесть ли из сочинений Пушкина?

Артель отозвалась неспешными голосами:

— Ладно, читай. И Пушкин написал хорошо, да и ты, Николаич, читашь, как показывашь, – читай.

Николаич развернул книгу, читать начал по книге:

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел

Рука с книгой опустилась. Николаич читал без лишнего пафоса, без жестов, и, казалось, видишь:

В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами:
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова.

Мы забыли, что сидим на борту карбаса, на бревнах, выкинутых морем. Николаич «жарил» на память. В грамоте-то он тоже не очень силен. В те годы не очень много учили: мало-мальски умеешь читать, писать и готово, грамотный. А то говорили: «Много будет учиться, перестанет бога признавать, перестанет царя почитать».

На вопрос, как он так помнит стихи, Николаич отвечал с усмешкой:

— Песня да сказки не молитвы, учить не надо,— сами помнятся.— И добавил:— А я, браты, ишшо вам сказку о попе и его работнике Балде скажу. Сочинение Александра Сергеевича Пушкина.

Сказку эту артель уже слыхала от Николаича, но слушали, как маленькие дети слушают давно знаемую сказку, но с неменьшим интересом воспринимая ее повторение. Благородные слушатели рассыпались хохотом, когда поп получил урок от Балды. Смеялись долго, повторяли отдельные, видимо, уже заученные места.

Николаич заговорил:

— Видно, Орина Родионовна, нянька Александра Сергеевича, сказки брала из того же места, откуда и наши старики да старухи берут. Ну-ко, Савельич, расскажи,

как парень к попу работником нанялся и как работал?

Савельич, довольный, ухмыльнулся, бородой прикрылся, будто лицо свое утирает,— видать, удовольствие лишнее спрятать хочет. Как же, подумайте-ка, сам Николаич зовет сказку сказывать — это большая честь!

Ну-к, што ж, язык-то свой. Я буду молоть, а вы слушайте. Коли у Пушкина про попа, дак и от нас попу уваженье. Как парень к попу в работники нанялся... «Нанялся ето парень к попу в работники и говорит:

— Поп, дай мне денег вперед хоть за месяц.

– На што тебе деньги? — ето поп говорит.

Парень отвечат:

— Сам понимашь, каково житье без копейки.

Поп согласился:

— Верно твое слово, како житье без копейки.

Дал поп своему работнику деньги вперед за месяц и посылат на работу. Дело было в утрях. Парень попу:

— Што ты, поп, где видано не евши на работу иттить!

Парня накормили и опять гонят на работу. Парень и говорит:

— Поевши-то па работу? Да я себе брюхо испорчу. Теперича надобно полежать, пусть пишша на место уляжется.

Спал парень до обеда. Поп на работу посылать стал.

— На работу? Без обеда? Ну, нет, коли время обеденно пришло, дак обедать сади!

Отобедал парень, а поп опять на работу гонит. Парень попу толком объяснят:

— Кто же после обеда работат? Уж тако завсегдашно правило заведено — тако положение: опосля обеда — отдыхать.

Лег парень и до потемпи спал.

Поп будит:

— Хошь теперича иди поработай.

На почь-то глядя? Посмотри-кось: люди добры за

ужну садятся да спать валятся, то и мне надоть.

Парень поел, до утра храпел. Утром наелся, ушел в поле, там спал до полдён. Пришел, пообедал и опять в поле спать. Спал до вечера и паужну проспал. К ужину явился, наелся.

Поп и говорит:

— Парень, што ты севодня ничево не наработал?

— Ах, поп, поглядел я на работу: и завтра ее не переделать, и послезавтра не переделать, а сегодня и приниматься не стоит!

Поп весь осердился, парня вон гонит:

— Мне еково работника не надобно. Уходи от меня!

— Нет, поп, я хошь и за дешево нанялся, да деньги взял вперед за месяц. Я месяц и буду жить у тебя. Коли очень погонишь — я, пожалуй, уйду, ежели хлеба дашь ден на десять».

Артель так грохнула смехом, что чайки, нырявшие за рыбками, шарахнулись в сторону. Хохот далеко разнесся в светлой тишине по гладкой воде. Эхо в горах повторило его.

— Мастак, Савельич! Дак говорит парень — «Месяц жить буду так!»

И снова смех бородатых ребят.

Николаич оглянул курящих:

— Вы каку бумагу прирвали на цигарки?

Ответил скорый Варламка:

— Мы, дяинька, Троицки листки[1] рвали, очень подходяче и душепользительно, и махорка хорошо тянется.

А том сочинений Пушкина Николаич разгладил рукой, наслаждаясь обладанием этой книги, и передал Варламке:

— Ну, пострел, унеси, положи ко мне в изголовье, да смотри, ежели ишшо...

---

[1] «Троицкий листок объявлений» выходил в г Троицке в 1908 г., позже — под названием «Троицкий вестник»

Варламка досказать не дал:

— Дяинька, да я, да Пушкина... Да штоб прирвать? Пушкина? Ни в жизнь!

* * *

О. Э. Озаровская рассказывала о встречах с неграмотными пушкинистами на Пинеге. Пришла О. Э. Озаровская в избу к крестьянину-бедняку,— крестьянин, зная ее, поднялся навстречу и, указывая на беспорядок в избе, сказал:

— Извините, Ольга Эрастовна. Не прибраны «пожитки бедной нищеты».

В гостях у О. Э. этот же крестьянин отказывался от чаю:

— Боюсь, «как бы брусничная вода мне не наделала вреда»,— как сказал Александр Сергеевич Пушкин.

О. Э. все-таки подала стакан чаю и спросила:

— Вы много Пушкина читали?

— Я неграмотный, где мне читать, а вот брат у меня грамотной, дак он наизусть без запинки отчеканивает и «Медново всадника», и «Евгения Онегина» и много знат стихов Александра Сергеича Пушкина, а я с голоса заучиваю.

Озаровская рассказывала мне, как была свидетельницей подготовки спектакля под открытым небом. Крестьяне одной из деревень на Пинеге готовили «Русалку». Выбрали подходящее место у мельницы. Руководил подготовкой студент, приехавший в родную деревню на каникулы (это было после 1920 года). Озаровская уехала накануне спектакля. Боялась, что река обмелеет, а пароход последний, придется ехать на лошадях.

Хотелось сказать ей сердито: «Хотя бы пешком!» Лишить себя такой радости! «Русалка» под открытым небом, в светлую северную ночь, в исполнении крестьян, из которых едва ли кто бывал в театре!..

Пушкина крестьяне знали даже в условиях прошлого темного времени.

Теперь и среди колхозников Северного края, и среди зимовщиков Новой Земли, и всей Арктики, как и по всему СССР, А. С. Пушкина будут знать полнее, шире, любовь к нему, издавна живущая в народе, вспыхнет еще ярче в нашу эпоху.

НЕНЕЦКИЕ СКАЗКИ

Как-то приходит старик ненец. Поговорил о том о сем попил чаю и спрашивает:

— Сказн, худозник, ты знас, посему у тех людев, сто приезжают, две правды, а у нас одна?

Пробую не понять:

Как две правды, тоже одна.

Нет, сто ты, у них и хоросо быват нехоросим, и нехоросо хоросим, а у нас нехоросо — нехоросо, хоросо — хоросо.

Много говорили, и в том ли году или в 1907 году, когда снова жил до осеннего рейса, рассказывали мне сказки. Две из них, как мне кажется, я запомнил. В себе хранил, как дорогой подарок. Теперь уже много лет прошло, можно и передать, как тогда записал.

Больше мне нравится мечта о счастливом крае, где нет злобы, вражды, где только любят:

«Если пройдешь льды, идя все к северу, и перескочишь через стены ветров кружащих, то попадешь к людям, которые только любят и не знают ни вражды и ни злобы. Но у тех людей по одной ноге, и каждый отдельно они не могут двигаться, но они любят и ходят обнявшись, любя. Когда они обнимутся, то могут ходить и бегать, а если они перестают любить, сейчас же перестают обниматься и умирают. А когда они любят, они могут творить чудеса. Если надо за зверем гнаться или спасаться от злого духа,

те люди рисуют на снегу сани и олени, садятся и едут так быстро, что ветер восточный догнать не может»,

Вторая сказка.

«Герой сказки нашел в лесу могильный сруб: четыре столба невысоких, вбитых в землю и околоченных досками, как ящик. Около сани с возом, опрокинутые, и олени в упряжке. Оглянулся герой, нет никого, стал звать:

Есть ли здесь кто-нибудь?

Голос из могилы откликнулся:

— Здесь я, девка, похоронена.

— Зачем же ты похоронена?

— Да я мертвая.

— Как ты узнала, или кто тебе сказал, что ты мертвая?

— Я всю жизнь была мертвой, у меня не было души, но я об этом не знала и жила, как и все живые. А когда была невестой и сидела с женихом и родными у костра накануне свадьбы, из костра выскочил уголь и упал на меня[1] Я и родные мои, и жених узнали, что у меня нет души, а только видимость одна. Меня и похоронили, и со мной все, что было мое

Герой сказал:

Хочешь, я сломаю могилу и ты будешь жить.

Нет, у меня нет души, мне нечем жить.

Я дам тебе половину моей души, и ты будешь моей женой!

Девка согласилась. Герой сказки сломал могильный сруб, освободил девку и увез с собой».

ДВОЕ В ПОЛЯРНОЙ НОЧИ

Пришлось быть в экспедиции по установке радиосвязи Югорский Шар, Вайгач, Маре-Сале. В первый год по-

---

[1] По ненецким суевериям дурная примета.

стройка не была закончена. На Югорском Шаре оставили двух сторожей, двух закадычных друзей. Оставили также обильный запас продуктов.

Оставшиеся вдвоем сторожа тяжело пережили зиму. Им многое казалось пугающим: и осенние ветры выли не по-хорошему, и снег о чем-то шуршал-говорил и будто сам переходил с места на место. Все ужасы, накопленные с детства из рассказов-сказок, оживали и тесно стояли кругом дома. И весной при солнце страх не ушел Расска зывали позднее:

— Идем по снегу и слышим — кто-то след в след идет за нами. Светлынь, солнце во всей силе, а кто-то идет и идет; остановимся — и тот, кто идет, тоже остановится. А то еще как кнутом большим щелкает с присвистом

Сторожа стали бояться один другого. За несколько дней до парохода стали охотиться друг за другом.

Чтобы не называть по именам, обозначу сторожей «добрый» и «злой». Оба схватили ружья. Злой выбежал из дому, ждал доброго, ходил около дома.

По счастью, ружье злого оказалось незаряженным. А добрый так и не смог прицелиться в своего бывшего друга. Размахивать ружьем — это одно дело, а чтобы выстрелить — руки не подымались.

Показался пароход — и разом пропали-ушли все стра хи. Друзья помирились, обнялись и даже вместе приготовили обед для гостей.

— Как стены раздвинулись! Широко стало. Зимой-то нас как крышкой накрыло. Когда разговаривали — еще ничего, жили, а как говорить промеж себя перестали — вот тут худо стало. Думается о многом, о доме вспоминается и слышится такое, что хоть на стену лезь. И теперь вспомнишь, так страшно становится. А на людях и свет-то стал другим.

ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ИНТЕРВЕНЦИИ В ИОКАНЬГЕ

В 1927 году я участвовал в этнографической экспедиции к лопарям. Наш путь был в погост Иоканьга. С тем же пароходом ехал художник Давыдов Иван Афанасьевич. Его задача была поставить памятник на месте тюрем в Иоканьге. С И. А. Давыдовым ехали и рабочие.

Мрачные камни, редкий мелкий кустарник, немного травы, цветные лишаи на камнях...

Выгрузили багаж. Главный груз был для памятника. его верхняя часть из полированного гранита. Основную, нижнюю часть предполагали собрать из местного материала — кругом камни и камни.

Закладку памятника назначили на воскресенье. Пробовали начальник станции и Давыдов говорить, что здесь и народу мало и никто не видит,— лишние хлопоты. Но настоять было не трудно.

— Мы, здесь оказавшиеся, видим. Видят рабочие приехавшие, учительница, ребята. А ребят всюду полно.

Согласились.

В воскресенье утром все собрались у скалы, на которой при интервентах стоял часовой. С этой скалы видны все тюремные помещения - самые страшные из бывших в истории. Это не подземелья, не каменные мешки. Бараки тюремные — из тонких досок наскоро сколоченные длинные шалаши, как двускатные крыши, поставленные на камни. В бараках справа и слева длинные ящики во всю длину.

* * *

Сначала памятник мне не понравился подобие тюрьмы и цепи.

Вечером я вышел к памятнику. Ветер разбивал о берег волны, далеко бросал холодные водяные брызги, и цепи от

ветра позванивали. Я понял замысел художника Давыдова: от интервенции в памяти остались тюрьмы и цепи.

На шлифованных камнях написано на русском, немецком, французском и английском языках:

ЖЕРТВАМ ИНТЕРВЕНЦИИ
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Иностранцы, проходящие мимо, могут прочесть и будут знать, что МЫ ПОМНИМ!

НА ЗЕМЛЮ ФРАНЦА-ИОСИФА

Ледокол «Седов» шел навстречу волнам. Волны, разбиваясь, рассыпались мелкими брызгами, и над баком подымалась радуга, бежала до мостика. Снова волна — и новая радуга.

Так нас встретил Океан. Помню, как отошли от берега,— капитан сказал, что не надо запирать каюту. В море за весь длинный путь — от Архангельска до Александровска, оттуда мимо Новой Земли к Земле Франца-Иосифа и обратно через Карское море — каюты не запирались.

Из Архангельска отходили в ясную погоду, но только отошли — туман и дождь мелкий как с привязи сорвался.

— Пройдет скоро, погода временная — Федосья-рыскунья[1]. Отшумит — и тихо будет,— пояснили мне.

Отшумела Федосья-рыскунья, тихо стало, но хотелось скорее ко льдам.

В Александровске — этом почти брошенном и как будто вымирающем городе — брали уголь. А из города не только жители ушли в Мурманск, но и дома увозят — местами остались только каменные фундаменты от домов. Достопримечательностью города за Полярным кругом был

---

[1] 11 июня (29 мая) — день имени Федосьи. В это весеннее на Севере время часто дует (рыщет) холодный, резкий, переменчивый ветер.

мороженщик. Он стоял около кооператива, или около Народного дома. Весь город (около ста человек) приходил «освежиться» мороженым.

Наконец отошли от Александровска. Пароход вымылся после погрузки угля.

Теперь мы идем ко льдам!

Чайки долго летели с нами.

9 июля. Идем льдом. Лед серый — может быть, усыпан береговым песком,— а местами белый, сверкающий. Источенный водой лед очень причудливых форм.

Ледокол медленно раздвигает лед, колет, давит своей тяжестью. Лед оседает, раскалывается длинными трещинами и раздвигается, унося с собой краску с ледокола,— будто красные раны на льдинах.

Ледокол полным ходом двинулся на толстый пласт льда, смял, расколол и остановился — подводная часть не пустила дальше.

Короткие команды:

— Лево на борт!

— Задний ход!

— Полный вперед!

Прошли. Вывернулся ярко-зеленый край льдины, а в воде в глубине льдина темно-зеленая. Из сплошного льда вышли.

На воде появляются тюленьи морды, утки проносятся мимо. А Михайло в бочке высматривает зверя.

Промышленники надели малицы. Туман. Мелкий лед кажется неподвижным. Тихо. Постукивает паровое отопление в трубах.

А в тумане, во льдах своя жизнь идет: то льдина прошуршит или слегка прозвенит рассыпаясь, то птица прокричит, и еще какие-то звуки.

11 июля. Сегодня солнечно. Снег блестит, и кажется, что светится. Показалась льдина — поле. Подошли, а она дырявая и для подъема самолета мала.

13 июля. Кругом лед почти сплошной. Под солнышком сверкают маленькие озерки воды, как дорога для «Седова». Показалось большое пространство воды. Блестит. А по краю мираж строится.

Радио принесло весть о спасении двух спутников Нобиле. Радиограмма висит около камбуза. Известие всех всколыхнуло. Много разговоров. За вечерним чаем, вернее полночным, долго и возбужденно обсуждали новость.

Чувствовалось, что все горды тем, что русские спасли.

14 июля. Девять часов утра. Туман остался на горизонте, тяжелый, темный и освещенный, очень похожий на береговые горы и по виду и по очертаниям.

17 июля. Медведь. Лед почти сплошной задерживает пароход, а медведь пустился бегом, и ветер к нему — пугает. Ранили. На льду полоска крови. Долго бежит медведь, уже думалось — уйдет, но полынья большая. Плывет медведь куда тише, чем бежит. Вчера взяли двух медведей.

Лед полярный чистый, белый с синевой и с зелеными озерками. Празднично красиво полярное лето! Идем от севера Новой Земли к Шпицбергену. Без промысла все скучают.

Два медведя идут навстречу друг другу, громко «переговариваются», и оба идут к пароходу.

18 июля. Радио теряет связь. Архангельск и Мурманск далеко, Югорский тоже, Матшар[1] — горы мешают и слабая слышимость «Малыгина». И странно, стало хорошо. Освободились! Один среди бесконечных льдов.

А радио так сближает, что кажется, вот тут за туманом, совсем рядом, и архангельский шум газетный, и вся мелочь сутолоки житейской...

В давние поездки ко льдам на «Фоке» в Карском море

[1] Маточкин Шар.

(с промысловым рейсом), в экспедициях по установке радиосвязи бродили без радио. Месяца по три без вестей. Чувствовалась дальность расстояния, и это давало полноту.

Теперь же и среди льдов мы крепко связаны с внешним миром. Это слишком много внимания отнимает.

Сейчас радио почти молчит. И больше внимания льдам и медведям, желтеющим на льдах, белым полярным чайкам, быстро снижающимся над водой, и неосторожной рыбешке, блеснувшей на солнце.

20 июля. Цвет льда изменился: уже вместо холодно-зеленого (ближе к синему) стал изжелта-зеленый (почти цвета травы). Встречаются айсберги — громадные темные кучи льда, запорошенные землей.

2 августа. У Земли Франца-Иосифа. 80°30′ северной широты.

Полночь. Солнце, как и подобает ему, стоит высоко. Туман пробегает легкими полосами, а на тумане радуги, но не такие, как всегда,— радуги белые, цветистость чуть улавливается. Одна, две, три... Лед торчками. Напоминает мусульманское кладбище или остатки каких-то городов.

Хочется еще выше. Хочется ступить на Землю Франца-Иосифа. Водрузить наш флаг!

Вспоминается, что в Архангельске уже темнеет. Сегодня маяки зажглись. А мы в солнечных ночах. Лето, солнце, а туман, оседая на снастях, замерзает. А на днях градусник на солнце за ветром показал 32° Цельсия.

3 августа. Озерко на льдине казалось маленьким, а воды пресной взяли около 100 тонн. Качать воду все высыпали. Льдину утоптали в серое месиво. Зеленое, чуть синеющее озерко почти не убыло.

4 августа. Встретили на льдине черную гору. Думалось — не остатки ли дирижабля «Италия»? «Седов» с ходу налетел и остановился. Гора черная, похожая на каменный уголь. Капитан дошел до озерка, среди которого

стояла гора. Она заметно колебалась от сотрясений льдины. Взять образец не удалось.

5 августа. Подошли к земле Александры. Шли свободной водой. Встречались лишь изредка льды, да айсберги медленно проходили мимо.

По распоряжению из Архангельска вернулись искать итальянцев. Идем самым тихим ходом. Якорь спущен на 30 сажен. Промеров здесь не было, и осторожность не лишняя. Подошли к прибрежному льду. «Седов» с ходу врезался в лед и остановился. Земля покрыта ледником, и лишь береговые скалы видны темными пятнами на розовеющем льду. Я остался на пароходе, чтобы написать этюд, но когда на берегу появились темные фигурки добравшихся до земли промышленников, я забыл все свои планы и с приятелем своим Василием Платоновичем (промышленник) спустился па лед и — к берегу. Лед розовеет, вода тихая, бледно-зеленоватая, кажется, такую можно только придумать. Кругом такое богатство красок, такая сокровищница, что я засмотрелся и оступился в воду. Кое-как переобулся и с мокрыми ногами пошел вперед — земля-то уже близко. Приятель пошел впереди и в трудных местах просто переносил меня. Слегка смущаясь, брал в охапку и ловким, точным прыжком перекидывался через воду.

Дошли до глетчера. Край ровным обрывом, лед откололся и осел. Промышленники с помощью багров ловко забираются на глетчер. Сначала мой этюдник попал на глетчер, потом Василий Платонович поднял меня, а вверху подхватили. Шумят ручейки,— много их и разноголосые. А с края глетчера струйками водопадов блестят трещины — иногда глубокие. Но тут нет широких, и идти легко. Обрывки водорослей по глетчеру делают узор.

Дошли до земли. Мыс Людлоф. Наконец-то я на Земле Франца-Иосифа! Много лет мечтал. В 1914 году в поисковой экспедиции за Седовым я надеялся быть здесь, но...

Промышленники уже сложили из камней гурий (опознавательный знак). Я красной краской написал на большом камне Серп и Молот, СССР, а ниже на другом — «л/п «Седов» — 5/VIII-1928 г.». А с другой стороны — имена бывших на берегу.

Мокрые ноги не позволяли остаться писать этюды. Набрали цветов: бледно-желтые маки. Приятелям я сказал, чтобы взяли по два камня плоских. Сообразили, в чем дело, и взяли не только по два. Обратно дорога короче. Спуск с глетчера был прост, я просто скатился на подставленную спину капитана. На пароходе переоделся — и снова на лед. Написал этюд — «Седов» у Земли Франца-Иосифа» и потом на камнях более 50 раз повторил. Писать было легко — ведь все приятели!

Солнце поднялось, и спины ледников засветились, будто свет идет из толщи льда.

В салоне на тарелке цветы, взятые с корнями и с землей.

6 августа. Море тихое, как вчера, и так же легко зеленеет с синими полосами. В поисках итальянцев зашли в пролив между островами. Остановились у ледяного поля, занесли якорь. Птицы кружатся, бороздят воду. Ледники как спины спящих чудищ.

Светло, ветра и в помине нет. Остановились на ночь. Течением в пролив двинуло айсберги, появился туман.

Успели выскочить! Почти у самого берега узким проходом между глетчерами и берегом проскочили. На пароходе мало кто заметил, какой опасности мы подвергались. И много раз капитан выводил ледокол из ловушек, подстроенных льдами, туманом, ветром. Не заметили — спали крепко. Прогулка по земле для всех была праздником, и теперь спят.

Ушли от айсбергов. В тумане проплывают редкие льдины.

8 августа. Радио из Матшара. Радист беспокоится,

спрашивает, куда, в какую дыру опять забрались, что такая плохая слышимость. Весь день идем в тумане.

9 августа. Пробиваемся во льду. Сегодня взяли 11 медведей, четырех живыми. Не понимают медведи опасности или уж очень уверены в своей силе. Один, идя к пароходу, катался, чтобы показать свои мирные намерения. А медвежата на палубе едят охотно компот, хлеб.

10 августа. Разбудил голос 2-го штурмана — докладывает капитану:

— Лед нажимает, может затереть!

Через час идем по свободной воде. Мы проходим в местах предполагаемого нахождения итальянцев. Но у нашего самолета колеса, лыжи, но не поплавни. А подняться можно только с воды. Ледяные поля все в проталинах.

В вечере уже предосеннее. Облака тяжелеют. Небо на горизонте окрасилось желтой полосой.

13 августа. Третий день стоим в тумане. Льдина заметно разъедается водой. И заметно на льдине, что стоим около трех суток — банки, бумага, мусор.

В кают-компании разговоры на тему — Архангельск. Я же думаю, как бы еще выше побывать на берегу.

Туман ушел. Двинулись. Подошли близко к острову Виктория. Остров выгнул ровную блестящую спину глетчера. Края старого облома с пятнами свежего снега. Большой медведь важной медленной поступью пришел почти к самому пароходу.

Осторожный обычно капитан так увлекся желанием оказать помощь погибающим итальянцам и так усердно всматривался в берег, давал свистки, что мы попали в лабиринт неподвижных айсбергов. Смерили глубину — три с половиной сажени. Айсберги на мели. Капитан дал сигнал в машину и в трубку тихо сказал:

— Нажми, старина!

Механик вышел на палубу, огляделся, сдвинул шапку на затылок, свистнул и ушел в машину. Выбрались благополучно. Опять почти никто не заметил.

Убили зайца пудов на тридцать. На краю тонкой льдины лежит. Много народу пустить опасно. Двое, как акробаты, скатились с лестницы. На льдине каждое движение рассчитано, точно и грациозно. Багор пробует льдину Легкий прыжок. Льдинка покачнулась, но промышленник уже на другой, третьей, пока льдинка собралась перевернуться. Сняли шкуру, взяли и тушу для обитателей «медвежьего дома».

Ночь, небо затянуто не темным, а многокрасочным пологом, на горизонте — ярко-красочным. Кажется, не одно, а три солнца светят из-за облаков. Яркий предзакатный свет собрался в трех местах. А на другой половине неба бахромчатые занавеси шоколадного цвета на синеватом, слегка мутном фоне.

14 августа. Туман несется полосами — то редкий и посветлеет, то сдвинется почти к самому пароходу, и мы затериваемся в океане.

16 августа. Туман. На большой льдине озерки пресной воды. Снова берем запас.

20 августа. К пароходу из тумана выплыла медведица с медвежонком. Медвежонка взяли живым.

Из тумана появляются и исчезают, проходя мимо, льдины причудливых форм — очень похоже на карнавал...

Оборачиваюсь. Рядом старик промышленник тоже наблюдает за льдами. А карнавал льдов все идет и идет. Между льдинами появляются нерпы, зайцы...

Вечером по радио слушаем чей-то доклад о походе «Малыгина». Начало пропустили. Участник похода «старался»: говорил, что они были «накануне прикосновения к неприкосновенным припасам», что «льда кругом больше, чем у них провизии и угля». И трогательно рассказывал, как встретили первые льды,— они «ласкались,

как ласковые собаки». Радио дало нам веселый вечер.

21 августа. Получено распоряжение обследовать восточную сторону Земли Франца-Иосифа. Туман разнесло. Океан тяжелый, темно-стальной с белыми гребнями. Редкий снег.

22 августа. Мокрый снег хлопьями облепил пароход. Стоим у льдины. Нет, не стоим, а с льдиной куда-то несемся. Можно попросить капитана показать на карте, где мы, но не все ли равно: лишь бы двигаться не на юг, а еще на север.

Вечером встретили «Гобби». Идет на поиски итальянцев и Амундсена. Сравнительно небольшое судно, машина на корме. На палубе два гидроплана в собранном виде, стоят под стрелами, всегда могут быть опущены в воду. Подошли близко. Капитан «Гобби» и начальник экспедиции Ларсен приехали к нам. С «Гобби» нас усердно фотографировали и вели киносъемку. Чтобы не повредить крылья самолетов, «Гобби» носом подошел к борту «Седова». Иной мир. Чужая речь, костюмы. Хозяйка судна, американка Гобби, и ее спутница одеты по-мужски. По виду у них на судне все хорошо прилажено, но у нас както теплее, проще и уютнее.

Туман поднялся, и на горизонте стала видна земля — мыс Гранта, Стофан, Билль, места знакомые: здесь мы уже были. Но внизу еще осела полоса тумана, над ней — темный с белыми полосами снега остров; на ровной площадке глетчера, будто искусственно, сделан конус. Туман развеялся, и остров оказался не так дико высок, каким выглядел до этого. Солнце за облаками, но еще не закатилось. Хорошо бы еще несколько солнечных ночей.

23 августа. Стоим в Британском проливе. Туман сливается с глетчерами. Иногда куски тумана вытягиваются, отрываются и улетают, будто острова выкидывают в небо куски глетчера. В одном месте туман стал подыматься кусок за куском, как извержение. Стоим близко от мыса Флора.

24 августа. Идем малым ходом мимо о. Хукер, где зимовал «Фока». Рядом о. Едзерайдис, низенький и без ледника — зеленеет. На нем, похоже, стоят две избы. Подошли ближе — это только камни, а уже подумалось, что нашли итальянцев.

Пароход ударил в льдину. На ней за ропаком спал медведь. Охотники его не видели и не приготовились. Медведь проснулся от толчка, вскочил, заорал и бежать! И ушел. А за кормой другой появился.

Ночь солнечная. Вдруг из-за горизонта серым клином вытянулся туман, закрыл розовеющие облака и навалился на льды, на пароход. Идем к Новой Земле.

25 августа. Весь пароход покрыт ледяной коркой. Антенну опускали, чтобы отбить лед. Промышленники заканчивают плетение сетей. Путь длинный, времени много, и постоянно несколько человек занято сетями.

26 августа. День ясный. Океан свободен ото льда, промышленники назвали его голым.

Дошли до севера Новой Земли. Мыс Ледяной, за ним и мыс Желания... От Земли Франца-Иосифа это уже на юг. Тут больше земли, свободной от ледников. Мыс Желания длинной узкой полосой вышел в океан, и на нем зелень.

7 часов вечера. По обе стороны от солнца на тонком слое тумана два кусочка яркой радуги.

27 августа. Встретился лед, подводная часть зеленая, почти цвета желтеющей травы. Капитан объясняет это пресной водой из Оби. Туман.

Ждем встречи с ботом Госторга «Новая Земля». «Седов» дает свистки. На 76° северной широты свистки создают впечатление населенности.

Стало по-осеннему сумеречно, и часы в каюте стали громче тикать.

30 августа. Обошли Новую Землю. Карские ворота кругом. Встретили последние льды. Отошли от Новой Земли. Тут уже дома. В полночь по горизонту над закатом

полоса широкой усиленной радуги, переходящей в темно-синий прозрачный тон. А на другой стороне неба луна над горизонтом в оранжевом треугольнике.

НА СЕВЕРЕ ДАЛЬНЕМ

ЛЕТНИЕ СОЛНЕЧНЫЕ НОЧИ

Полные красоты, развертываются летние ночи за Полярным кругом. Там к полуночи солнце склонится к горизонту, как будто остановится, постоит — и снова пойдет выше, чтобы, поднявшись, начать свой рабочий день. Вернее сказать, днем солнце светит обычно и тени падают, а ночью пропадают тени и свет кажется праздничным.

Раз в Карских воротах мои спутники по экспедиции поехали бить ленных гусей (гуси, линяя, почти не летают, и бьют их палками — назвать это охотой трудно). Меня оставили на островке-торче, площадью метров с двадцать, и забыли, увлекшись ловлей гусей.

Океан был спокоен. Полночь. Солнце висит над горизонтом, а с другой стороны — луна, чуть золотистая. Она не светила, а только светилась, отражаясь в океане. Из воды торчали маленькие островки.

Свет ровный, ласковый окружил и меня, и островки, и все видимое пространство. Казалось, что все стало почти прозрачным. Я написал этюд. Сидел в свете, в тишине и рад был, что один среди этого великого молчания.

Не заметил, как прошла ночь. Солнце поднялось высоко, упали тени. Пробежала рябью вода — как будто я откуда-то вернулся. Оглянулся... Красиво, светло, но исчезла золотая радуга, только что все наполнявшая. Лишь в душе осталась радость пережитого.

Мои спутники вернулись на судно, а за завтраком вспомнили, что оставили меня на островке в океане. Вернулись.

— Ты не очень сердит на нас, что забыли тебя? Уж прости, заохотились.

Жаль было уходить с островка. Куда там сердиться, я готов был благодарить их за эту забывчивость.

БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ

Первого медведя на свободе я увидал в Карском море в летнюю солнечную ночь. Медведь спал на льдине. В ту ночь море было сиреневое, льды — розоватые, подводная часть льдин, просвечивая в воде, была зеленая. Медведь, вырисовываясь на снегу желтоватой массой, спал к нам спиной. Мы подходили так, что ветер шел от медведя к нам. Он не слышал запаха людей, но услыхал шум парохода, приподнял голову, понюхал воздух и снова лег. Но шум уже мешал. Медведь встал, обернулся на нас. Он был крупный и в прозрачном воздухе солнечной ночи казался громадным. Посмотрел на нас, почуял, видимо, опасность и бросился в воду: торопился добраться до ледяного поля, растянувшегося на километры. Тогда он еще мог бы спастись быстрым бегом. В воде медведю трудно удирать: плавает он тише, чем бегает, а жир мешает долго держаться под водой.

Но две белые шлюпки с разных сторон, обойдя льдину, уже мчались за ним. Медведь оборачивался, ревел сердито, нырял. Когда медведь нырял — увы, неглубоко,— он был красивого зеленого цвета.

Раздался выстрел...

Через час медвежьи окорока висели, привязанные к вантам. Шкура на веревке полоскалась за бортом. Повар жарил медвежье мясо.

Мимо плыли розоватые льдины с зелеными тенями. На льдинах встречались кровавые пятна — тут медведь позавтракал. Встречались убитые, но несъеденные нерпы, оставленные про запас.

Мы вторглись в медвежьи владения, нарушив их покой.

Потом встречи с медведями стали чаще и сделались обыденными. На борт взяли трех маленьких медвежат. Убили медведицу. На льдине снимали шкуру, а два медвежонка не уходили, ревели и плавали около. Их поймали петлями и на воде втиснули в ящики. Ящики деревянные, обиты внутри железом. Подняли ящики на борт, сняли петли с медвежат, окатили их водой. «Пассажиры» очухались, им дали воды, угостили сахаром. Медвежата сразу полюбили сахар. Через несколько дней они освоились с заключением. Их можно было гладить. Медвежата и сами ласкались — лизали руки и, высовывая из ящика морду, смешно оглядывали подходящих.

Так с воды достали еще одного маленького медведя и одного подростка. Для подростка заготовленные ящики были малы. Торопясь, сколотили ящик и не обили его железом. Когда подняли на борт, медведь показал себя! Окатили его водой, освободили от петли. Он замотал головой, взревел дико, заметался в ящике, схватил пастью доску толщиной в два пальца и смял ее, как бумажную.

Весело было! Кто куда рассыпался: кто на мостик капитана, кто на ванты вскарабкался повыше, но в каюту никто не ушел. Не шутка — рукопашная с медведем, и ружья под рукой не оказалось, но интересно, и «шкуру» надо не упустить.

Маленькие медвежата рев подняли в три глотки. Из-за их рева разговаривать стало трудно. Хорошо если бы медведь, вырвавшись, кинулся за борт,— на воде его можно было бы опять взять. А если бы, разозленный, он бросился на людей, то трудно сказать, чем бы дело кончилось. Догадался механик — сунул в ящик железный толстый прут. Медведь занялся прутом: грыз его, мял лапами и отчаянно урчал. А тем временем сколотили новый ящик, обили железом и привязали к первому — дверь в дверь. Разом открыли — подняли двери ящиков. Медведь приостановился настороженно. В новый ящик

сунули мясо. Рванулся медведь за мясом — его и заперли в крепком ящике.

Поймали моржонка живого. Убили моржа-самку, на отмели снимали шкуру. Моржонок все плавал и рвался к матери. Затащили шлюпку на отмель, уложили в нее снятую шкуру, а шлюпку на бок опрокинули. Моржонок забрался в шлюпку, прижался к шкуре и успокоился. Так его и привезли на пароход.

ГАРПУНЕР

Старик гарпунер промахнулся. Молодежь посмеивалась, а старик, если бы водка была, напился бы пьяным, а трезвый только отругивался. Он и сам был раздосадован промахом.

Пришел ко мне в каюту.

— Эх, Григорьевич! Мне бы крови стакан выпить для поправления глаза, я показал бы им, как я бью. Пулю в пулю лепить буду!

Остановились у берега, убили оленя. Прибежал ко мне старик.

— Попроси капитана, пусть меня пошлет шкуру снимать. Молодые испортят, изрежут.

Капитан согласился. Я — не охотник и не очень стремился смотреть, как снимают шкуру. Так хорошо почувствовать под ногами твердую землю после долгого плавания на воде! Встретилась громадная глыба заледеневшего снега, одним краем держалась у крутого склона горы. Под глыбой можно было встать во весь рост. Только холодно, и редкие капли падали. Я пошел под льдиной. Сыро, холодно, даже как-то могильно. Прошел. Меня ждали спутники: они не успели остановить меня, боялись окрикнуть и ждали, затаив дыхание. Едва я показался у края, меня подхватили ласковые руки.

— Как ты жив остался! Счастье, что не крикнул.

Я оглянулся. Льдина так надежно держится, гулко падают успокаивающие капли.

Один из спутников выстрелил. От сотрясения воздуха льдина дрогнула и осела. Урок хороший! Я больше не проходил под такими висящими льдинами.

Пришли к месту охоты. Шкура с оленя снята. Старик гарпунер сидит довольнехонек. Выпил две кружки горячей крови: усы, борода — все в крови.

— Вот теперь не дам промаху!

Поставили мишень — какую-то щепку. Старик стрелял пуля в пулю. Что это — самовнушение или, действи тельно, горячая кровь оленя помогла?

Вскоре после этого был случай, когда с нашей шлюпки и шлюпки с норвежского судна одновременно бросили гарпуны в моржа. Как доказать, чей гарпун попал первым?

Старик гарпунер по душевному складу был добродушнейшим существом. Но его взлохмаченная голова, большая с проседью борода, громкий голос и уменье дико таращить глаза производили устрашающее впечатление. Недаром дали ему прозвище — Черт.

Черт вскочил, вытаращил глаза да как заорет на норвежцев, бросая разом и русские и норвежские ругательства... Норвежцы отступились.

И было из-за чего шуметь: зверина был больше чем в тонну весом.

ВО ЛЬДАХ

Ехал я с экспедицией по установке радиосвязи на Югорском Шаре, Вайгаче и Маре-Сале.

Пароход не был приспособлен к плаванию во льдах - простой полугрузовик. Ехали «на авось». На этот раз «авось» вывезло. Но были близки к гибели.

За Колгуевым нас встретили льды. Мимо плыли льдины причудливых форм. Сначала как цветы — большие, белые. Зеленеющие подводные части льдин усиливали

сходство с растениями. Лед все прибывал и, словно стадо, стал обступать кругом.

Замедлили ход, но двигались. Думали, авось выйдем из полосы льдов. Но натолкнулись на ледяные поля длиною в километры. Мы счастливо попали в озеро среди льдов. Если бы лед сдвинулся, пароход раздавило бы. Опасность была велика. А кругом так светло, так нарядно среди белых синеющих льдов с зелеными озерками пресной воды на них, что об опасности не думалось.

Со льдин добавили запасы воды.

Часть спутников (не северяне) все же напугалась и пыталась добраться до берега. Взяли лодку, всякого груза (провизии, дров, ружье и т. д.) набрали свыше сил и потащились. Через несколько дней пришли обратно — измученные, чуть живые от усталости.

Прошло 28 дней. Зашуршали льды, двинулись... Мы были свободны.

Много разных льдин встречалось, иногда — источенные водой, как кружевные. Красивые льдины!

А раз океан рассказал жуткую повесть. У берега остановилась льдина, на ней что-то темнело. Я подошел ближе посмотреть, что это. В льдину вмерз руль.

Льдина давняя, руль вмерз довольно глубоко. Где судно? Спасся ли кто-нибудь из бывших на нем?.. Кругом тихо, золотисто-радужный свет наполнял все. А на берегу, близко к воде, ко льдам, цветут ромашки с ярко-оранжевыми серединами и крупные незабудки — голубые и розовые.

БЕСПОКОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Из прошлого города Архангельска

В восьмидесятых-девяностых годах прошлого века весь город знал Куликовского Александра Павловича. Рабочий в колбасной, Куликовский причинял много хлопот начальствующим лицам. При видимой благонадежности Куликовский был бунтарем...

Семья у Александра Павловича была большая, ребят — десять. Жили голодно.

Восстанавливая в памяти Куликовского и его «дела», я обратился к людям старше меня годами. Спросил у Марьи Яковлевны, помнит ли Куликовского.

— Как не помнить! И было то не сколь давно. Будто вчера или позавчера (Марье Яковлевне за восемьдесят, и восьмидесятые и девяностые годы для нее — недавнее вчера). — Трезвый Александр Павлович, — продолжала рассказ Марья Яковлевна, — шел всегда прямо. В костях широк. Когда здоровался, волосами весело встряхивал. Волосы темные, курчавились. Росту был обыкновенного, значит, среднего. Ходил в шляпе, только в большие морозы надевал шапку. Ему в провинность ставили и шляпу — «Будто господин какой!» Не могли подобрать закона для запрета шляпы. Народ Куликовского уважал, а что пил — то ему не очень в вину ставили: он и пьяный с пониманием вел себя.

Тогдашние начальники всячески донимали Александра Павловича. Каждый из них знал свои дела и боялся, что узнает про то Александр Павлович и в каком-нибудь виде на свет выставит.

Даже архиерей говаривал:

— У него, у Куликовского, и почтение-то какое-то непочтительное, и указать не на что, и сказать нечего. Меня он не затрагивает, а оглядываюсь на него с опаской и себя проверяю.

Из дел или проделок Куликовского особенно прошумела история с царской телеграммой.

В 1888 году пришло известие о крушении царского поезда и о спасении царской семьи. Спасение объявили «чудесным проявлением вышней заботы о царской семье».

Куликовский только что получил свою зарплату и решил опередить господина губернатора и других начальствующих особ. Написал телеграмму царю, царице и всему

царскому семейству. Про себя решил Александр Павлович: «Бьют крепким словом, можно попробовать почтительным что-либо выколотить. Эх, была не была!»

И на все полученные деньги послал хорошо сплетенную телеграмму. Расчет оправдался. Пришел ответ.

Весь город облетела весть:

— Куликовскому телеграмма от царицы! От самой царицы! И адрес полностью проставлен, и имя, и отчество, и фамилия. И подписано: «Мария!»

Содержание телеграммы все время менялось, всяк по-своему говорил. Одновременно в Архангельске был получен запрос — кто такой господин Куликовский! В каких чинах, каких капиталах, какое место занимает эта предостойная особа? Проявляется ли в должной мере заботливость к господину Куликовскому?

На улице, где проживал Куликовский, сейчас же навели порядок: починили мостки для пешеходов, у ворот дома поставили столб с фонарем — один на всю улицу. На окраинных улицах из ламп в фонарях часто выливали керосин. Из «фонаря Куликовского» керосин не брали, это была особая дань уважения.

Телеграмму доставили только на другое утро.

По двору прошагал франтоватый околоточный. Он не стал стучать в дверь — звонка не было,— толкнул ее и в темных сенях стукнулся лбом о притолоку. Надо было пятак приложить, чтобы шишка на лбу была меньше, да не до того — мешала телеграмма, надо ее скорее сдать. Околоточный чиркнул спичкой, огляделся — нет ли умысла? Нет, постройка такая или дом осел. Если бы не царская телеграмма, околоточный сумел бы и виновного сыскать, и с виновного взыскать.

Не хотелось околоточному наклонять голову, и он решил присесть, входя. Вошел. Выпрямился. Прокричал:

— Александр Куликовский! Тебе телеграмма от царицы, получай, расписку дай — и на чай!

Куликовский вскочил, оглянулся.

Околоточный оторопел: самое большое начальство не могло быть таким грозным. Околоточный пролепетал:

— Что ты медвежьим солнышком смотришь? Если нет чем за доставку заплатить, потом отдашь, я получить не забуду.

Куликовский ногой топнул и так закричал, что во всем домишке отдалось. На улице было слышно:

— Да как ты посмел прийти с высочайшей грамотой?! Ведь это не простая телеграмма, это вы-со-чай-шая грамота! От ее им-не-ра-тор-ско-го ве-ли-чес-тва! Должен самый старший по чину и положению принести и вручить мне. Должен его превосходительство господин губернатор в полной парадной форме, при всех регалиях и чтобы со свитой полагающейся. Он явится представителем вы-со-чай-ших особ! А ты — вон убирайся, пока я не составил протокол за непочтительное отношение к их им-пе-ра-тор-ским ве-личе-ствам!

Околоточный сжал кулаки, побагровел, но повернулся с заученной ловкостью и выскочил из комнаты, в дверях согнулся и, не разгибаясь, выбежал на улицу.

Куликовский долго смеялся:

— У дурака слова «высочайших величеств» ум отшибли!

На улице, на глазах любопытных, околоточный выпрямился, отдышался, принял осанку, по чину положенную. Фуражку пришлось сдвинуть далеко на затылок: знак от притолоки был виден всем прохожим, рассматривающим его без всякой почтительности. Некогда было цыкнуть — околоточный чуть не бегом понесся по улице.

Наблюдающие говорили:

— Здорово, знать, влетело — здорово летит!

Долго обсуждали, как Александр Павлович расправился с околоточным — палкой или кулаком? Наотмашь или ткнул в лоб? Спросить у околоточного не решались.

В квартире Куликовского пошла спешная уборка, приборка, чистка, мытье. Из комнаты вытащили кровати, столы, стулья. Надо было освободить место для всех господ начальников. Садиться им не обязательно! Постоят в квартире Куликовского — и того довольно им, лишь бы места хватило для всех.

Тряпками вытерли стены и потолок, благо до него рукой подать. Пол вышаркали голиками с дресвой. Жена Куликовского принесла половики из распоротых мешков. Куликовский велел убрать.

— Без ковров. Пол вымыли, и ладно. Чисто — не чисто, было бы мыто.

На стене прицепили булавками ярко раскрашенные лубочные портреты царя, царицы, наследника. В закопченной комнате яркие олеографии назойливо лезли в глаза.

Жена Куликовского протестовала:

— Откуда у тебя, Александр, почтение к царям взялось?

— Молчи, жена, ни тебе ни мне портреты не нужны, а тем, кто сейчас приедут, портреты помогают на ногах держаться, над нами измываться. Уедут «гости», портреты опять под кровать сунем.

Перед иконой затеплили лампадку. Ребят утолкали в кухню, настрого наказав не шуметь.

Едва успели справиться со всеми делами, явились гости.

Во двор разом втолкнулись шесть полицейских. Два вытянулись у калитки, два встали у крыльца и два остановились по дороге от ворот к дому — домишко стоял в глубине двора. Франт околоточный занял пост в сенях, у притолоки ему знакомой: он приготовился почтительно предупреждать их превосходительств и их высокоблагородий наклонять голову.

Улица, всегда безлюдная, ожила. Народ сбежался поглядеть, как будет и что будет.

Во двор вступил губернатор, за ним бригадный генерал и другие чины. Выступали с важной медлительностью и как будто боялись провалиться.

Остановились у входа: не было приличной прихожей с приличествующей вешалкой. Маленькие сенцы и дверь в комнату. Где оставить шинели? Для передачи царской телеграммы нельзя входить в шинелях. Если приехали, то надо явить себя во всем начальственном виде.

Околоточный кивнул головой полицейским. Два от ворот, два, стоящих на полпути от ворот до домишка, подскочили к двум, стоящим у крыльца, вытянулись выполнять приказания... Замерли в ожидании. На руки полицейских господа сбросили шинели, плащ губернатора ловко подхватил околоточный.

Дорога во двор оказалась свободной, любопытные столпились у всех окон. Полицейские не могли помешать, с шинелями на руках они были прикованы к месту, не могли бежать, выгонять, взять на окрик тоже нельзя: господа начальники близко, полицейским более привычно действовать «действием». А надо стоять и не замечать любопытных у окон.

Кто-то виноват во всем этом, и пет времени искать виновного. А все царица с ответной телеграммой... кабы ей!

У дверей околоточный докладывал о притолоке. Губернатор остановился. Короткий разговор:

— Не могли вырубить?

— Так что, ваше пре...

— Болван!

— Так что, ваше превосходительство, извольте сильнее наклониться.

Губернатор и все чины приготовились повергнуть в трепет своим великолепием, своей начальственной осанкой! Устрашить и заставить согнуться в поклоне! А надо наклоняться, входить с опущенной головой. Особенно труд-

но было губернатору: высокий воротник мундира подпирал голову, а корсет, стягивающий довольно тучный живот для придания стройности фигуре, не позволял наклоняться. Стройности в фигуре губернатора давно уже не было, осталась одна выпяченная важность.

Если бы на телеграмме не был указан адрес Куликовского, то можно было бы вызвать, даже коляску послать за ним, заставить подождать в приемной часа два-три и допустить до себя, вручить телеграмму, сохраняя собственное достоинство. И этот телеграфный запрос: «В достаточной ли мере оказывается уважение и внимание господину Куликовскому?»

Губернатор подогнул колени. Так он никогда никуда еще не входил.

Случилось и еще нечто, не бывшее в жизни его превосходительства: треуголка мешает! Нет места красиво согнуть и слегка отогнуть левую руку, поддерживающую треуголку, и шпага, как нарочно, подвернулась неловко, подняла фалды мундира. Так и пришлось войти с поднятым хвостом! И вприсядку!

За окном кто-то крикнул: «Губернатор петухом идет!..»

Приходилось бывать на больших приемах и самому делать приемы, но такого глупого положения не было.

Входили, расправлялись. А картинность торжественного, грозного входа уже пропала.

Вошли. Вытянулись истуканами.

Торжественным и даже строгим стоял хозяин. Он одним общим взглядом убедился в наличии парадных мундиров и регалий, не дал времени здороваться. Обернулся к иконам лицом, воздел руки и начал молиться. Пришлось и гостям молиться.

Громко поминая имя царя, Куликовский сделал земной поклон и обернулся на гостей.

Гости вытянулись, окаменели: — «Этого еще недоставало!».

Первым торнулся из окаменелости губернатор, достал носовой платок, бросил на пол, еще не просохший,— губернатор берег свои белые брюки.

Гости по-своему делали земные поклоны: опускались на одно колено. Тугие воротники мундиров мешали наклонять голову, вместо поклона чуть подтягивали подбородок и опускали глаза.

С этим Александр Павлович мирился: если, по понятиям «чинов», так подобает — вместо поклона подмаргивать иконе,— пусть так поупражняются. Кто из них решится за царя не молиться при всем честном народе?

Поднялся Куликовский, возгласил моление за царицу и снова бухнулся на колени, и снова обернулся на гостей. Гости все стояли на коленях. При упоминании имени царицы гостей заметно передернуло. Некоторые волками оглядывались на портрет царицы. Чувствовалось, что все ругательства и проклятия по ее адресу кипят в «молящихся».

Пришлось вставать на колени и за наследника, и за всю царскую семью. Да не один раз! Куликовскому этого было мало. Запел полным голосом молитву за царя, обернулся и бросил:

— Пойте!

Запели. От злости голоса хрипят, зубы скалятся, кулаки зуботычины готовят, а поют!

— Хор — хуже не придумать, а поют громко. Стараются один перед другим доказать усердие в молитве за весь царствующий дом.

Во все окна народ глядит, слушает. Послушали за окнами, шапки сняли и тоже запели. Получилось всенародное пение за царя, и получился беспорядок. И запретить нельзя!

Один Куликовский находил, что так и быть должно. Подражая регенту, размахивая руками, запел еще громче! Больше часу продолжалась молитвенная гимнастика и

пение. Очень походило на издевательство над высочайшими особами. Куликовский с усмешкой поглядывал на портреты и оглядывался на поющих важных господ, усердствующих один перед другим. Устал Александр Павлович или надоело ему разыгрывать комедию,— громко возгласил:

— Аминь! — Обернулся к гостям с видом, милостиво подпускающим к себе.

Губернатор откашлялся и, с трудом сдерживая бешенство, начал:

— Господин Куликовский!

Куликовский подсказал:

— Александр Павлович.

Чиновники остолбенели от такой дерзости: осмелиться поправить самого губернатора! Губернатор овладел собой:

— Уважаемый Александр Павлович! Ее императорскому величеству благоугодно было...

Куликовский поднял руку:

— Всемилостивейшей государыне императрице...

Губернатор скрипнул зубами, сдерживая желание раскричаться, расшуметься и, может быть, дать волю кулакам. Осмелиться дважды остановить его превосходительство — неслыханная дерзость! Но Куликовский защищает титулование императрицы, ее честь...

Губернатор оттянул рукой тугой воротник мундира, глотнул воздух. Ждали какого-либо припадка, но важная особа справилась с собой и продолжала медленно, выделяя каждое слово.

— Глубокоуважаемый Александр Павлович! Ее императорскому величеству, всемилостивейшей государыне императрице благоугодно было в ответ на ваше всеподданнейшее поздравление с чудесным спасением августейшей семьи послать вам высочайшую грамоту в виде телеграммы, кою я имею высокую честь вручить вам, принося

свое поздравление с монаршей милостью и с пожеланием вам доброго здоровья на многие годы!

Куликовский протянул руку губернатору, позволяя пожать. Позволил и другим чинам высказать поздравления, позволил пожать руку Расшаркивались, улыбались — улыбки получались кривые, зубы скалились, а слова были самые изысканные, из слов кружева плелись.

Злоба переполняла гостей. Злились и на Куликовского, а больше на царицу: дернуло ее послать ответ! С этой телеграммой пришлось ехать к черту на кулички, чуть не на свалку, и на потеху любопытным молиться и распевать! А народ — будто у всех свободное время — устроил гулянье.

Расшаркались гости, заулыбались, прощаясь, в дверях гнули головы и плечи.

Надевая шинели, начальствующие почувствовали возвращение в значительность своих чинов и положений. Оглянулись: толпа любопытных, невозбранно проникших в неохраняемые ворота, заполнила двор. Любопытные не выражали восторга, не выкликали слов привета, но и ничего иного, никакой непочтительности не проявляли: просто уставились.

Губернатор изобразил улыбку милостливо-снисходительную и в меру строгую. Этой улыбкой его превосходительство старался показать и убедить: «Все было так, как надо, как должно быть!» Все чины тоже сделали улыбки.

Вслед начальству кто-то сказал:

— Ишь, намолились, напелись — будто напились, наелись, лицом довольны, нутром злостью исходят...

Отметил Куликовский белые перчатки у всех гостей и у полицейских. Купил себе белые перчатки и с телеграммой в руках появился на рынке. Белые перчатки, неторопливая поступь делали Куликовского важным. Полицейские вытягивались, козыряли, провожали глазами.

Все знали и о «гостях» Куликовского, и о молении, и о пении. Всем хотелось видеть телеграмму.

Из лавок зазывали, кричали не по фамилии, как обычно, а по имени, отчеству.

— Александр Павлович, сделай милость, зайди, покажи телеграмму!

— Пять целковых за прочтение.

— Что очень дорожишься?

— Надо деньги вернуть: когда я телеграмму посылал — без мала месячный заработок ухлопал. Деньги гони вперед, да один читай.

— Ну уж это, как подобает. За свои собственные деньги я хочу в своих собственных руках держать царскую телеграмму и собственными глазами единолично читать. Держи деньги.

Желающих было много. Подходили с бумажными пятирублевиками или с золотыми пятирублевиками. Серебряными рублями Куликовский не брал: карман оттягивают. Из соседних лавок торопили желающие «единолично и собственными глазами читать царскую телеграмму».

К вечеру цена за прочтение снизилась до трех рублей. На другой день брал по рублю, и даже по полтиннику...

Объявили праздничный «царский» день. В соборе — торжественная служба.

За час до звона Куликовский был в соборе. Прихватил с собой ребят. Установил ребят на колени и сам занялся усердной молитвой.

Гулко отдались по собору шаги полицейской команды, молодцевато отпечатывающей шаг.

Бедноту, забравшуюся посмотреть торжественную службу, послушать архиерейский хор, быстро вытеснили,— места освободили для «чистой публики». Хотели убрать и Куликовского. Полицмейстер приказал не беспокоить.

В разных местах собора в стойке «смирно» замерли отборные, рослые полицейские, строго распределяя публику (молящихся) по чинам и по одежде.

Отзвонили колокола. Забренчали бубенчики на архиерейском облачении. Духовенство собралось со всего города.

Явились все начальствующие особы. Покосились на Куликовского, но не решились помешать его молитве.

Служба шла своим чередом. Протодьякон вобрал полную грудь воздуха, растворил рот и рявкнул многолетие.

Куликовский, преисполненный молитвенным усердием, тоже запел многолетие во всю силу. Его пение неслось отдельно от хора. Напрасно регент делал знаки, прося или не петь, или вступить в пенье с хором. Начальствующие переглядывались. Полицмейстер ждал сигнала принять меры.

Служба кончилась. Куликовский подошел к губернатору, поздравил, протянул руку. Лицо у губернатора передернулось. Губернатор овладел собой, и лицо его любезнейше заулыбалось.

Спектакль продолжался. Пришлось губернатору пожать ручонки маленьким Куликовским. Ребятишки звонко проговорили заученные слова поздравления.

Таким же чередом были поздравлены и другие в чине генерала и полковника. Остальным Куликовский милостиво кивнул головой. Громко высказал радость о чудесном спасении, повторяя на разные лады сказанное.

Губернатор слышал в словах Куликовского, напыщенных и нарочито громких, издевательство над высочайшими особами, но счел более спокойным для себя не замечать этого.

Куликовский с губернатором вышел на Соборную площадь. Появление Куликовского среди начальства никого не удивило. С утра говорили в народе:

— Куликовский будет парад принимать!

Слушая рапорт, хотя и не к нему обращенный, Александр Павлович, как и окружающие, козырял рукой в белой перчатке. Со стороны было похоже: Куликовский принимает парад. Разговоры в толпе продолжались:

— Куликовский-то во всем новом, и ребята в обновках. Деньги-то впрок пошли.

— Александр-то Павлыч наш в таку пошел гору, что в гости звать впору.

Сказанное оправдалось. После парада многие стали звать Куликовского в гости. Кто звал обедать, кто кофею откушать.

Александр Павлович с поклоном благодарил:

— В другое время — ваши гости, а сегодня дома праздную, сегодня мой праздник. Жена и в церковь не пошла, пироги печет, меня с ребятами ждет. Не обессудьте!

Соблазняли выпивкой:

— Пойдем, Александр Павлыч, выпьем по одной-другой и все по единой.

Куликовский показал на уходящее начальство:

— Сегодня их очередь выпивать, обиду заливать. Сегодня мне и без вина весело.

Вечером была иллюминация. На главной улице, на Троицком проспекте, в окнах были поставлены зажженные лампы, свечи. В окнах присутственных мест и в окнах губернаторского дома были деревянные подставки, и на них свечи стояли елочкой.

В дни иллюминаций народ медленно идущей толпой гулял по Троицкому проспекту.

В этот день гулянье было мимо жилья Куликовского. На улице светил один фонарь у ворот дома Куликовского. Но нашлось много желающих помочь «иллюминации в честь Александра Павловича»: на улице, к великому удовольствию мальчишек, загорелись плошки.

Иллюминация на этой улице была первый раз. Улица полна народом, гуляющие двигались медленно, не было

ни выкриков, ни громких разговоров, была торжественная чинность. Гуляли в честь Куликовского.

Обитатели улицы праздновали, в каждом домике — гости. Праздновали по уговору без выпивки, гостям объясняли: «Ежели Александр Павлович не пьет сегодня, так и мы не будем — мы с ним одному и тому же радуемся»

НА СОЛОВЕЦКОМ ПОДВОРЬЕ

Из дальних концов России шли богомольцы в Соловецкий монастырь. Пешком шли тысячи километров. Ветхая одежда от солнца, дождя, от ветра у всех одинаково пыльно-серого цвета. Лица обветренные, покорные, тоже казались серыми. Горели глаза, будто идущие ждали чуда, которое освободит их от беспросветной нужды, бесправия.

С котомками за плечами, запасными лаптями у пояса брели богомольцы по городу. Останавливались перед памятником Ломоносова, снимали шапки, крестились и кланялись. Не спрашивали, какой святой, сами решали: кто-либо из соловецких чудотворцев — сподобились поклониться. Перед богомольцами за небольшой зеленой оградой на высокой каменной подставке стоял голый человек, тело покрыто простыней, в руках человек держал лиру, перед ним ангел на одно колено стал и поддерживает лиру. По углам зеленой оградки стояли четыре столба и на каждом столбе по пять фонарей. Богомольцы решили: значит, святой высокочтимый.

Не понравилось это начальству. Памятник стоял перед присутственными местами. И вид бедноты, шествующей по главной улице, вызывал беспокойство. Богомольцев стали направлять по набережной.

Добирались богомольцы до Соловецкого подворья в Соломбале. Дальше дорога шла морем. Среди богомольцев часто были неимущие, без денег на билет. Иногда брали на пароход и безбилетных, знали монахи, что в лохмотьях

богомольцев зашиты деньги, посланные в монастырь родными и знакомыми. Часто безденежные богомольцы жили, сколько позволяла полиция, и шли обратной длинной дорогой.

В жаркий летний день на подворье толпа безденежных богомольцев ждала выхода архимандрита.

Богомольцы сбились кучей перед крыльцом, с надеждой: «Авось смилостивится, сдобрится, примет на пароход». И увидят они монастырь, среди моря стоящий, и над ним солнечный свет и днем и ночью все лето. Увидят чаек, устраивающих свои гнезда на папертях церквей и по дорогам, где проходят богомольцы. Увидят морские камешки с морской травой, кустами на них растущей. Увидят много чудесного, о чем рассказывали побывавшие в монастыре, и сами будут рассказывать, украшая виденное придуманными красотами. Только бы взяли на пароход!

На этом пароходе возвращался в монастырь архимандрит, ехали важные и именитые гости из Архангельска. Все каюты первого и второго классов заняты. И в третьем классе, в трюме и на палубе все места будут заняты пассажирами, купившими билеты. Для бесплатных пассажиров места нет.

Распахнулись двери. Монастырские послушники вынесли на крыльцо и развернули большой ковер во всю ширину крыльца. Медлительной поступью вышел, будто выплыл, архимандрит. Весь он лоснился, светился, сиял и сверкал! Лоснилось моложавое лицо, обрамленное пышной русой бородой, лоснились волосы, слегка подвитые. Светились сытые глазки, при солнце светилась шелковая ряса. Блестел отполированный посох с серебряным набалдашником. Сверкали янтарные четки, сверкал золотой наперсный крест с драгоценными камнями.

Архимандрит красивым, хорошо разученным взмахом руки благословил богомольцев.

На крыльцо вынесли большое мягкое кресло и осто-

рожно придвинули к архимандриту. Поддерживаемый дюжими монахами-телохранителями архимандрит колыхнулся и погрузился в кресло. Весь вид архимандрита полон благостыни и милосердия, от него несся легкий аромат розового масла и запах росного ладана. Архимандрит одной рукой перебирал четки, другой рукой слегка передвигал золотой крест на груди. Было похоже, что он непрестанно молится. На самом деле крест холодил — так казалось архимандриту. Под шелковой рясой была пуховая подушечка, к кресту приделана тонкая кипарисовая дощечка, а холод чувствовался мучительно. Доктора прописали ежедневные морские ванны (запас морской воды для сего был на пароходе). Архимандрит не переносил горячей воды и боялся холодной, для него делали «летнюю воду».

После такой ванны и после обеда благорасположение ко всем и ко всему помогало выслушивать слезные просьбы безденежных богомольцев.

У Соловецкого подворья была пристань для пароходов, бегающих между городом и Соломбалой. С парохода сошел Куликовский. Он торопился по каким-то делам, но увидал монахов, высящихся на крыльце, и, забыв о своих делах, стал всматриваться и вслушиваться.

Архимандрит не утомлял себя, говорил не очень громко, но четко, всеми хорошо слышимо. Говорил о монашеском бытии, о непосильных трудах, о неустанном молитвенном бдении, об изнурительных постах, особо строго соблюдаемых. Говорил так убедительно, что и сам верил своим словам; в его голосе слышалась настоящая скорбь о всей монашеской братии.

Куликовский оглядел монахов, как на подбор откормленных. Есть же в монастыре не поддающиеся полноте при всем обилии яств — таких не нашел. Справа и слева кресла стояли два образца «постников»: ремни не сходились на их животах. Один монах опоясался ремнем выше

живота и пухлые ручки уместил на сей возвышенности; другой опоясался ниже живота,— казалось, у него над ремнем или бочка, или туго стянутая перина.

Архимандрит закончил свое «слово» особенно проникновенно и ласково и — отказал взять на пароход безбилетных.

Куликовскому хотелось тряхнуть сытых монахов, заставить услышать голодных, хотелось ударить монахов если не кулаком, то хотя бы словом. Он вскинул голову, готовясь что-то громко крикнуть, и остановился. Все, что могло быть последствием, одним взмахом пронеслось в голове: у монахов и власть и сила, его, Куликовского, привлекут за оскорбление монашествующих и припишут еще ряд статей. Александр Павлович рванул с головы шляпу — это можно счесть за почтение к монашествующим,— забежал в часовню, схватил евангелие и с евангелием, высоко поднятым над головой, подбежал к архимандриту. Не сдерживая себя, крикнул на все подворье:

— Помнишь ли, что здесь сказано: «Приходящих ко мне — не отрину!»

На какую-то часть минуты архимандрит рассвирепел, но, вспомнив наставление доктора не волноваться, беречь сердце, овладел собой, вернул себе благостный вид, взял из рук Куликовского евангелие, приложился, благословил безденежных богомольцев и разрешил им погружаться на пароход.

Провожая ликующих богомольцев, Куликовский успокаивал архимандрита:

— Свое возьмешь. В море, если будет качка, устроишь моление об избавлении от погибели. Если будет тихо — моление благодарственное, вот и добавочный доход!

Архимандрит рад, что Куликовский не вздумал сам ехать в монастырь. Это вернуло хорошее настроение.

Поддерживаемый монахами, архимандрит прошество-

вал на пароход по трапу, устланному ковровой дорожкой, которая свертывалась следом за архимандритом.

На звоннице у часовни забрякали колокола, пароход дал третий свисток и тронулся от стенки.

Куликовский был доволен своей победой, снял шляпу и поклонился архимандриту глубоким, почти монашеским поклоном, оказывая свое «почтение».

Архимандрит счет уместным ответить на поклон поклоном. Тяжелый живот не позволял ему делать обычный поклон, и архимандрит приспособился слегка приседать и наклонять голову — похоже на поклон и картинно. Старухи говорили: «Умилительно кланяется».

Ответив умилительным (и примирительным) поклоном, архимандрит послал благословение Куликовскому и второе — всем оставшимся на берегу.

Богомольцы с парохода кричали Куликовскому:

— Спасибо, заступник, век помнить будем!

ХВАЛЕНКИ

Село Веркола на реке Пинеге. 1905 год. Заканчиваю этюд старого дома. Подходит старуха. Оглядела меня внимательно:

— Здорово посиживаешь!

— Здорово похаживаешь!

Этим мы поздоровались.

— Чей?

— Из Архангельска.

— Мм... Женат?

Старуха поглядела на мою работу.

— Скажи на милость, чего ради сымашь дом, старе которого нет? Наизгиль али понасердки?

— Нет, бабушка, не издеваюсь, не изгиляюсь я над хозяином и на сердце против него не несу ничего. Сымаю

для памяти, чтобы знать, каки́ дома раньше строили. Теперь таких уже не строят.

— Верно твое слово, новы дома ишь курносы.

Старуха показала на новые дома с вышками.

Раздалось пение на высоких нотах.

— Бабушка, что это? Или поет кто?

— Хваленки на передызьи поют.

— Я тебя не понял, что ты сказала.

— Чего не понял, я по-русски сказала.

— По-русски, да слова мне не знакомы.

— Которо слово незнакомо?

— Кто поет-то?

— Хваленки, понимашь, девки-невесты, на выданьи которы; их сватьи хвалят — вот те и хваленки. Слышь, сколь ни тонко тянут.

— А где поют? Я даже повторить слово не умею.

— Передызье-то? Да звоз на повети, перед избой, значит.

Пенье стало слышнее. Хваленки шли к нам. В пестрых безрукавках, в ярких красных сарафанах, как огнистый развернувшийся венок. Цвета были красные, желтые, разных оттенков. Хваленки шли, взявшись за руки. Подошли, остановились полукругом, поклонились.

День стал праздничным.

— Торговый?

— Молчите, девки,— сымальщик из Архангельскова. Гляньте, сколь дотошно дом Онисима Максимовича снял.

Хваленки подошли, рассматривали и работу, и меня.

— Ох ты мнеченьки, дом-то исто капанный, и окошко разбито. Вставь стекло-то, вставь, не обидь хозяина, подрисуй.

— Ладно, вставлю, дома закончу.

Одна из хваленок не то смущенно, не то кокетничая спросила:

— А можно к Вам прийти рисоваться?

— Можно, рад буду.

Кисти уложены, этюд закончен.

Хваленки собрались уходить.

— Хваленки, вы куда?

— За реку, на ту сторону.

— Возьмите меня с собой?

— С хваленками ехать дорого стоит. Коли по полтине на рыло дашь, поедем.

— Мое дело казной трясти.

Денег лишних нет. Решаю занять на дорогу домой у почтового чиновника.

Идем деревней, открылось окно, и звонкий голос догнал нас:

— Девоньки, вы куда? Нате-ко меня!

— Прибавляйся.

Девица прибавилась.

Старик перевозчик сел к рулю и меня остановил:

— Не садись, парень, в весла. Мужиково дело править, бабье дело в веслах сидеть.

— Хваленки, песню споете?

— Андели, да разве хваленки без песни ездят?

— Тут и петь-то негде, и вся-то Пинега не широка.

— А мы не по реки, а по песни поедем.

Повернул старик лодку вверх. Затянули хваленки песню старинную, длинную, с выносом. Все зазвенело: и солнечный день, и яркие наряды хваленок, и песня... Допели. Старик повернул лодку, запели песню другую — веселую. Подъехали к берегу. Девицы в гору.

— Девушки, хваленки, стойте, погодите, деньги возьмите!

Хваленки с высокого берега прокричали заспевно:

— Доброй человек сымальщик, где же это видано, где же это слыхано, чтобы хваленки за деньги пели? За слово ласково, здоров будь!

В КАНУН ПРАЗДНИКА

Село Койнас. Звонят к всенощной. Спрашиваю ям щика:

— Завтра праздник?

Ямщик сердито обернулся:

— Вижу, что везу безбожника. Праздников не знат. Кабы знал, что безбожник, на козлы не сел бы.— Повернулся к лошадям:— Ей вы, ленивые!

На постоялом дворе лошади были. Решил заглянуть в церковь — может быть, есть интересные иконы или сохранился старинный иконостас.

Вошел. Служба еще не началась. Поп где-то задержался с требой.

На скамейках направо и налево сидят молча. Напра во — старики, налево — старухи.

Есть понятия хорошего тона в разных городах и обществах, а у нас на Севере, в дальних краях его, хороший тон особенно строг. Я как на сцену вышел. Ужели, думаю, провалюсь, не сумею войти, как следует. Смотрят с двух сторон за каждым моим движением.

Отошел от порога три шага, чтобы не помешать входящим за мной. Сделал три поклона в сторону иконостаса. Делал все слегка замедленно. Повернулся к старикам и без крестного знамения поклонился — рукой до полу.

Старики встали стеной, все враз поклонились — рукой до полу, выпрямились, сели. Сели прямо, не сгибая спины, не кладя ногу на ногу. Руки или скрещены на груди, или положены на колени.

Я так же не спеша повернулся к старухам. Так же отвесил поклон, выпрямился. Старухи встали стеной, все разом поклонились, сели.

Я подошел к старикам — раздвинулись, дали место. Сел, выпрямился, ноги поставил слегка раздвинув, руки положил на колени. Тихо. Среди старух одна — видом

Марфа Посадница — слегка стукнула палкой-посохом:

— Что, старики, не спросите — чей?

Я встал, поклонился Марфе Посаднице, выпрямился и сказал:

— Старики молчат. Дозволь со старухами разговор вести.— Марфа Посадница тоже встала, согнулась в поклоне, выпрямилась, села. Сел и я.

— На поклон легок, на слово скор, говори чей?

— Слыхали? — назвал я отца и мать.

Старуха в ответ назвала моего деда и бабушку.

— Достойных родителей сын. Далеко ли дорога твоя?

— Еду к Андрею Владимировичу.

Не надо было пояснять, что Андрей Владимирович — Журавский — работает на сельскохозяйственной опытной станции Усть-Цыльмы.

— Хороший человек Андрей Владимирович, работает на пользу людям.

Пришел священник. Началась служба. Уйти к самовару, к книге уже нельзя.

Служба кончилась. Вышел из церкви, отошел от порога три шага, чтобы не мешать выходящим за мной, повернулся. Около стоит Марфа Посадница.

— Пойдем ко мне в гости.

— Покорно благодарю, поздно сейчас.

— А ты не кобенься, не тебя чествую, а твоих дедушку да бабушку, твоих папеньку, маменьку. Ты-то ишшо поживи да уваженье себе наживи.

— Я не кобенюсь. Да время позднее, и завтра праздник, надо обедню не проспать.

— Верно твое слово. И я-то, старая, зову гостя на ночь глядя да ишшо под праздник! Приходи завтра после ранней обедни.

Я-то мечтал проспать и раннюю, и позднюю.

В БОЛЬШОМ НАРЯДЕ

В 1923 году проехал по Пинеге, по Мезени, собирал образцы народного творчества для Северного отдела Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве.

Село Сура на Пинеге. Престольный праздник в селе. На квартире разбираю свой багаж.

— Маменька, глянь-ко, глянь-ко! Анка Погостовска в большом наряде идет.

— Анка? Андели, андели, Анка Погостовска — да в большом наряде! Да сумеет ли выступить, сумеет ли гунушки сделать?

— Сделат, маменька, сделат, оногдысь делала, дак ладно вышло.

Не удержался, выглянул в окно. Девица в старинном алом штофнике, в парчовой коротеньке, в высокой золотой повязке на голове перебиралась через плетень. Для сохранности штофник высоко подобрала.

— Что вас так дивит Анка Погостовска?

— А то и дивит, что девка из бедного житья. Наряд взяла на одеванье — отрабатывать нать будет. А в большом-то наряде в первый раз идет. А ты подешь нашу Петровшину смотреть? Коли подешь, дак не проклаждайся, опоздашь к началу.

Наскоро свернул свои вещи. Поспел к началу. На место Петровшины сходились девицы в больших нарядах: цветные шелковые сарафаны, парчовые коротеньки, высокие золотые повязки на головах девиц, у молодух ярко-красные шелковые косынки на голове завязаны кустышками — широким бантом над лицом. Старинные шелковые шали перекинуты на руку, в руках беленькие платочки. Белые пышные рукава перевязаны лентами. Белизна рукавов подчеркивает переливчатую яркость золота и старинного шелка.

Спросил у старухи:

— Бабушка, я не опоздал?

— Отвяжись, сбивашь смотреть.— Обернулась ко мне, оглядела и уже ласковее заговорила: — Ты у Феклы Онисимовны остановился? Сказывают, ты сымальщик. Ну, дак не опоздал. Вишь, только собрались. Расшипериваться начали, потом телеса установят, личики сделают, гунушки сделают, тогды и пойдут. Да ты сам гляди и мне не мешай.

Гляжу, как не глядеть! Перед глазами — живое прошлое — XVII век! Девицы «расшиперивались», расправляли наряды. Тетки помогали изо всех сил: одергивали, расправляли сарафаны, взбивали рукава, расправляли ленты.

Большой наряд не простая забава, это большое дело. «Расшиперились». Начали «телеса устанавливать»: выпрямились, как-то чуть двинули себя — и телеса установлены. Это не по команде «смирно», это по команде «стройно», только команда не произнесена. «Личики сделать», «гунушки сделать» девицы учатся перед зеркалом. И тут все умеючи «сделали» спокойные лица — чуть торжественные и улыбку — чуть приметную, смягчающую торжественность. Готовы!

Моя соседка-старуха замерла в торжественном ожидании. Впрочем, не одна она, все мы замерли перед «действом».

Какой-то незаметный знак — и девицы чуть колыхнулись и поплыли.

И вдруг дождик частый, мелкий, торопливый. Мы не заметили, как набежала туча,— нам было не до того.

Старухи всполошились:

— Охти мнеченьки, что девкам делать? И фасон сбить нельзя, и наряд мочить нельзя.

Девки вопрос решили просто: подол на голову — и

под навес. Анка Погостовска выдержала экзамен. И кумушки, и тетки, и соседки признали:

— Хорошо Анка шла, как и не перьвоучебна.

СТАРИКИ

День жаркий. У окна сидит старуха и прядет, веретено крутит и дремлет-засыпает за пряжей.

— Лихо прясть из-за солнышка. Споро прясть из-за огничка. Ох, хо-хоо...

— Бабушка, ты прилегла бы пошла, чем маять себя.

— И то повалилась бы пошла, да тебя совещусь, проезжего человека,— осудишь.

— Нет, не осужу. Отдохнешь — снова за работу возьмешься.

— Хорошо, коли так. Люди разные есть. Новые придут, глаза попучат — пойдут да и нас учат! А севодня я рано зажила. Севодня у нас помочь. Стряпала да пекла. А печеному да вареному не долог век: сели да поели — и все тут!

* * *

Анна Ивановна Симакова одна в комнате. Темно. Лампочка перегорела. Я присел на стул.

Анна Ивановна заговорила:

— Сейчас вот сшевелюсь с кровати.

Сшевелилась, нащупала темную кофту на стуле. Одевается, на голову повязала темный платок.

— Анна Ивановна, зачем Вы одеваетесь в темноте? Так посидим. Не видно ведь...

— Как же так? Гость пришел, гостю надо честь оказать.

Анне Ивановне 84 года.

— Как себя чувствуете?

— Да все еще жива. Глаза открою и дивлюсь — еще жива. Уж сколько раз до краю дойду — и жива.

О КОЗУЛЯХ

Уходящий старый быт уносит с собой загадку про исхождения рождественских козуль.

Издавна завелось к рождеству печь козули. Но почему они пекутся к рождеству только? И откуда это название — козули? Это до сего дня вопросы... Наши этнографы пропустили их мимо внимания, видимо, потому, что приезжали в Архангельск летом, когда козуль не бывает. Попробую сказать несколько слов о козулях. Может быть, кто-либо откликнется и можно будет выяснить начало козуль.

Самые древние козули — холмогорские и мезенские — из черного теста, иногда расцвеченные белым тестом. Холмогорские козули по виду напоминают оленя. Из теста вылеплена фигура на четырех ногах, голова, куст рогов ветвистых, на рогах яблоки, на яблоках птички, вернее крылышки птичек, сделанные из белого теста (яблоко с крылышками напоминает изображение крылатого солнца). И вся козуля кажется перенесенной из очень давнего языческого мира. Чудится какая-то оккультная запись в этой странно красивой фигуре. Размер такой козули бывает 5—6 вершков. Меньшего размера козули делают без яблок на рогах, а только с птичками (птички напоминают кисти рук с растопыренными пальцами). Пекут козули и маленького размера — около вершка, упрощенные по рисунку, или пытаются придать им сходство с коровой, конем (иногда с всадником на коне). Профессор Зелинский в 1913 году заметил, что эти маленькие козули по форме и размеру очень похожи на фигуры каменного века.

В Мезенском уезде, кроме маленьких, подобных холмогорским, еще пекут плоские козули: раскатывают тесто

длинной лентой толщиной в половину карандаша и свертывают ее разными рисунками, порой неожиданно похожими на священный лотос в волнистом окружении, напоминающем сияние. Бывают также птички на гнезде и другие.

Весной в 1914 году по моей просьбе старуха взялась настряпать козули. Раскатала из теста нити и начала складывать рисунок, что-то нашептывая. Я спросил: «Что, бабушка, шепчешь?» Остановилась старуха и строго сказала: «А ты не сбивай, коли нужны козули». Имело ли шептание старухи какое-либо отношение к козулям, не знаю. Старуха не объяснила. Другие отговаривались незнанием.

В Архангельске козули пекутся из пряничного теста, режутся железными формами (пряничные силуэты) и украшаются (разделываются) сахарной глазурью, белой и цветной (чаще розовой), обильно облепляются «золотом» и «посыпью». Формы, сделанные из железа, иногда довольно толстого, сохраняются долго, переходя из рода в род. Расспросами удалось установить давность форм до 200 лет, но, несомненно, есть формы и значительно большей давности. У Ел. Пет. П-вой формы от ее матери, бабки и т.д. Также и у других мастеров козуль наиболее древних рисунков из дошедших до нас. Козульницы и козульники часто совершенно не умеют рисовать карандашом, а возьмут палочку или трубочку с глазурью и по силуэту пряника, повторяя виденное и перенятое у старших, творят удивительные по красоте рисунки.

В 1913 или 1914 году я увидел у торговки-козульницы на рынке козулю, изображающую орла. На груди у него буква «А» и одна палочка (Александр I). Спросил ее: «Почему у тебя на орле буква «А» и одна палочка? Надо «И» и две палочки». И услышал в ответ: «А потому, что так надо. Моя маменька да моя бабушка делали букву «А» да одну палочку — значит, так надо. А ты что за указчик выискался?»

Изменениям подвергаются формы в кондитерских. Там

мастера придумывают новые формы и изощряются в затейливости разделки, мало считаясь с установленными рисунками.

Печь козули начинают с октября. В начале декабря козули появляются в булочных и кондитерских. В половине декабря ими заполняются все витрины и полки булочных и кондитерских. Размер козуль — от полутора до 10—12 вершков. Стоимость их — от копейки до рубля, а более вычурные изделия кондитеров стоят до 10 рублей и более.

Перед рождеством козули заполняют рынок. Торговки козулями выстраиваются рядами и развертывают свои короба — предлагают покупателям широкий выбор. Громадное количество посылок с козулями рассылалось по России и за границу.

Многое в Архангельской губернии сохранилось от очень глубокой старины. Мне кажется, что и козули холмогорские и мезенские (и в ряде других уездов) являются наследием здешних первонаселенников. Возможно, что пришедшие сюда новгородцы и москвичи принесли с собой пряники. И из древней козули из черного теста и из пряника могла выявиться наша козуля. Но, может быть, пряник завезен на Север иноземцами и приспособлен взамен языческого печения к христианскому празднику.

Рисунки наиболее давних форм — звезда, ангел, пастух, корзина (с дарами), птицы, близкие к человеку животные, елка, виноград, вазы с цветами, олень с санями, лев (лев как царь зверей, а может быть, тут сказалось влияние английское или норвежское). Более поздние козули — амазонка, извозчик, собака с будкой, кошка. И появившиеся за последние десятки лет — пароход, паровоз, велосипедист, аэроплан. А после 1920 года — серп и молот и дед с лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В 1925 году я видел на рынке козулю с изображением нового орла: форма пряника та же, что и раньше, только на груди орла серп и молот, крест отрезан, а на короне — «РСФСР».

В прошлом, 1926 году я встретил в Москве Н. Д. Виноградова, собравшего большую и, кажется, единственную в России коллекцию пряников как образцов народного творчества. Видя, как Н. Д. Виноградов любовно и внимательно относится к этому виду народного творчества, я поставил перед собой задачу — собрать ему по возможности полную коллекцию козуль. И, может быть, с помощью Н. Д. Виноградова и других дельных на то людей удастся выяснить их происхождение.

НЕ МОЕ ДЕЛО ОСТАНАВЛИВАТЬ ФАНТАЗИИ ПОЛЕТ

БИОГРАФИЯ

В одной из моих предыдущих биографий я написал: «Родился в той комнате, в которой живу». За это получил резкий окрик. Кто-то, разбирающий почту в ССП, подшивающий анкеты, крикнул из Москвы: «Писать надо кратко и без лишних слов!» До сего дня не понимаю, что вызвало такой окрик.

Снова анкета. Уполномоченный ССП в Архангельске говорит: «Подробнее напиши».

Подробнее и ни одного лишнего слова.

Сначала напишу для избежания нового строгого окрика без лишних слов.

БИОГРАФИЯ № 1, КРАТКО ИЗЛАГАЕМАЯ. Жить начал в 1879 году 12 октября по ст. ст., 25 октября по н. ст. Живу до сих пор. Подумывал перестать жить. Кое-как удалось перетерпеть и — живу. Вырастая, стал грамотным, стал писать сказки. Печатали — писал и много. Перестали печатать — писать стало трудно. Все.

БИОГРАФИЯ БЕЗ ОПАСЕНИЯ ОКРИКА. Родился в г. Архангельске, Поморская, 27, в той комнате, в которой живу. Родился в 1879 году 12 октября по ст. ст., 25 окт. по н. ст. Назвать меня хотели Сергеем, но бабушка запротестовала. В честь деда моего деда назвали Степаном. С детства жил среди богатого словотворчества. Язык моих сказок мне более близок, нежели обычный литературный язык. Гóворя северян не захломощена иностранными словами и более четко показывает, что говорящий хочет выразить. Творчество сказок наследственное. Мой дед был сказочник. Часто сказка слагалась на ходу, к делу, к месту, к слову. Лет четырнадцати стал записывать свои сказки. Сказки слагались про окружающих, про людей знаемых и не были

безобидными. По этой причине авторство скрывалось.

С детства я тянулся к живописи, хотел быть художником. Это не нравилось отцу: «Будь сапожником, доктором, учителем, будь человеком нужным, а без художника люди проживут».

Чтобы попасть в Петербург, нужны были деньги на дорогу. Я поступил рабочим на лесопильный завод Я. Макарова, убирал хлам на бирже. К концу лета в руках были деньги на дорогу. Из дому получал по 10 р. в месяц. На питание оставалось по 4 к. в день. Надо было оплатить квартиру, купить материал для работы. Так прожил полтора года. В 1905 г. за протест против самодержавия я был лишен права продолжать образование. Летом был на Новой Земле. На зиму решил ехать за границу. Западная Европа не влекла. Хотел посмотреть Восток — яркий, красочный.

Турция, Палестина, Египет. Шумно, душно, жарко и аляповато-ярко. Через год-полтора побывал в Италии, Греции. Возвращаясь домой, я полнее и глубже почувствовал чистую красоту Севера. Богатство более широкого спектра солнечных лучей. Солнечные ночи.

Был также в Париже.

За работу в школе (с 1928 года стал преподавать в средней школе) меня премировали путевкой на курорт. Это почти испугало! Лишить себя солнечного лета, уехать от солнечных ночей! От подобной «награды» я отказался.

В 1924 году в сб. «На Северной Двине» напечатана сказка «Не любо — не слушай» («Морожены песни»). Сказка пошла в ход. Ее передавали по радио. Не раз рассказчики пытались присвоить авторство. По этой причине я настаиваю на названии сборников сказок «Сказки Писахова». Проведя почти всю жизнь впроголодь, я хочу хотя бы авторство своих сказок за собой уберечь. Сказки попали в «30 дней», редактор Безруких П. Е. Внимание «30 дней» дало толчок моим сказкам. Днем занимался в школе или живописью, а ночи отдавал сказкам.

В прошлой анкете я говорил: нас, детей, в семье было четырнадцать человек. Осталось двое: сестра Серафима Григорьевна Писахова, работник областной библиотеки, и я. Так и досуществовываем.

МОЯ ПАЛИТРА

В выборе своих друзей-красок я очень осторожен. Я хочу сказать, что очень осторожен в выборе масляных красок. Акварель и карандаши меня мало беспокоят, в их обществе я со всеми знакомлюсь, со всеми разговариваю. Если разговор не клеится или не понимаем друг друга — расходимся.

В масляных красках иначе. Тут я очень разборчив. При знакомстве и познакомившись, подружившись, ценю и берегу дружбу. Есть краски, с которыми я не ссорясь перестал встречаться...

ПОЧЕМУ МНОГО ЛЁТУ В СКАЗКАХ?

Меня корят да упреками донимают: почему много лёту в сказках? В редкой кто не летает.

А как иначе? Кругом столько лёту: и скоростные самолеты, и на дальность, и высотные, и с большим грузом. Фантазия начинает свое дело полетом. Не мое дело останавливать фантазии полет. Вот направлять полет в како-либо место, которо в памяти болит...

СКОЛЬКО НАДО ДЕНЕГ?

Как-то пристали ко мне с досужим разговором.

— Сколько надо тебе денег, чтобы было довольно?

А жил я на 20—25 рублей в месяц. К концу месяца часто «постничал».

— Сколько? Трудно сказать.

— Сто рублей довольно?

— Сто? Ну куда я с ними?! Да сто рублей мало, чтобы нанять хорошую мастерскую.

ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА

Дом на углу по старому названию Литейного проспекта и Пантелеймоновской улицы. Фасад дома облеплен «мавританским стилем». Какие квартиры за окнами, выходящими на улицы, не знаю. Знаю темные сырые квартиры окнами во двор. На воротах зеленые бумажки: «Сдаются комнаты». На белых клочках пишется об углах. Грязная лестница, ободранная дверь — «мавританский стиль» сюда не дошел.

«Угол» в темном коридоре. На ящике можно спать. Коридор освещается маленькой керосиновой лампой. Читать нельзя. Угол не для занятий — только спать. Цена — 1 руб. 75 к. в месяц. Устроился. Через месяц переехал в кухню — плата 2 р. 25 к. В кухне есть окно. Мое место между плитой и раковиной. Стола для меня нет. Есть ящик. Он — кровать, и стол, и стул.

В кухне чад. Что-то пригорело... Кислый запах жареного цикория. Цикорий покупался сырой, жарился, к нему прибавлялся кофе — это было главное питание всей семьи.

Глава семьи — высокий дряхлый старик. Один сын неработоспособный, другой страдает жаждой к водке. Старший сын где-то работает, но у него жена, дети. Хозяйка Екатерина Константиновна — высокая старуха, болезненная, бьется изо всех сил, чтобы как-нибудь просуществовать на какую-то мизерную пенсию мужа и на заработок шитьем. Я был таким же «капиталистом». На питание в сутки у меня было четыре копейки... Особенно трудно было к концу месяца.

У меня не было денег на стирку. Но за ящиком, на котором я жил (спал и занимался), оказывалась пара белья,— должно быть, я уронил и забыл. В кармане пальто оказывался чистый платок, слегка смятый. То же было с ворот-

ничками: помнится, вчера воротничок был сомнительной свежести, а сегодня чистый и хорошо выглаженный. Прошло много времени, прежде чем я догадался, что Екатерина Константиновна стирала белье, платки, воротнички и подбрасывала мне. Такая забота, такая деликатная забота от старухи, замученной нуждой.

Раз Екатерина Константиновна мыла пол в своей комнате. Вышла мыть в коридор, но сил не хватило. Легла на кровать, оставив воду и вехоть. Я снял ботинки и вымыл коридор и кухню.

Екатерина Константиновна думала, что пол домыла ее невестка, жена старшего сына.

Иногда, приходя домой, я находил на подушке на бумажнике кусочек постного сахара.

— Екатерина Константиновна, откуда это?

— Я сэкономила семь копеек, купила сахару. Это ваша доля.

Это было искренне, было от сердца, и отказаться было нельзя.

ДОКТОР НАУК

1905 год. Мой первый приезд на Новую Землю. Пароход ушел. Водку выпили. Опохмелились, кто как сумел. Кто баней, кто кислым. Промышленники ушли на места промысла. В становище остались старики, старухи и ребята.

Надо устраивать свое жилье. Выстирал белье, выстирал и половики. Нашел их в сенях в углу, грязные и затоптанные, они валялись там кучей. После стирки вычистил самовар, вымыл пол. Поставил самовар греться и пошел полоскать белье.

Берег около дома оказался крутоват и довольно высок. У берега припай плотной крепкой льдиной. Выполоскал белье. Вода прозрачно-зеленоватая. Все видно до маленьких камешков, до тонких веток водорослей. Верхний пресный слой воды замерзает и разбегается стрелками. Смерил палкой,— глубина мне почти до плеч.

Не утерпел. Разделся и прыгнул в воду. Я задохся, меня будто ледяными иголками проткнуло со всех сторон. Пробормотал:

— Бабушки, дедушки!

Но окунулся и подождал, чтобы вода надо мной успокоилась. Выскочил. Одеваться было некогда. Бросился по снежному припаю. Согреваясь, исполнял танец, названья которому нет. Говорил что-то похожее на привет морю, солнцу, ряби и дали морской.

Согревшись, надел ботинки, накинул пальто, собрал в охапку мокрое белье и сухую одежду — и домой.

Самовар вскипел и замолчал. Я прибавил углей, и он снова весело запел. Напившись чаю, я погрузился в сон: устал за день с непривычной работы. Самое трудное для меня — мытье полов, от него подколенки болят.

Утром, едва открыл глаза, увидел соседа по комнате.

— Болен?

— Болен.

— Что болит, что чувствуешь?

— Подожди, сейчас соображу.

Проверил себя всего.

— Есть хочу.

Так два с половиной месяца и купался. Пропуски делал в дни сильных ветров, когда из дома к дому ходили с помощью протянутой веревки.

Осенью в Петербурге я почувствовал какое-то покалывание в груди. Мне посоветовали идти к доктору На́уку. Сказали, что честный, внимательный и не очень дорогой — визит 1 рубль.

Наук строго сказал:

— О таких вещах, как сердце, легкие, нельзя говорить легко,— и внимательно меня выслушал.— Совершенно здоровы. Чего ради пришли ко мне? Сердце и легкие в полном порядке.

Я, одеваясь, рассказал о купании со льдины.

— Раздевайтесь.— Снова стуканье, слушанье.— Вам родители дали громадный капитал — здоровье. Исключительное, крепкое. Вам его надолго хватит. Ваши дедушка и бабушка, вероятно, никогда не лечились?

— Дедушка, бабушка — староверы и не признают докторов. И мама говорит: «Если доктора позвать, он навыдумывает разных болезней».

— Права Ваша матушка. Передайте ей привет. Пусть и дальше живет дальше от докторов. Купаться Вы можете, только другому никому не советуйте,— для этого надо иметь ваше сердце. У вас накожные нервные боли. А надо ли художнику лечиться от нервов? Это может походить на лечение от талантливости.

Я оделся и протянул рубль за визит.

— Со здоровых не беру.

Лет через пять я почувствовал утром острую боль в спине. С трудом оделся и добрался до Наука. Больных было много.

— Вы так страдаете, что идите вне очереди,— предложили мне.

Прошел вне очереди. Доктор помог раздеться, провел рукой по позвоночнику. Все прошло, боли как не бывало.

— Вас надо горячим утюгом прогладить. Шляетесь, отнимаете время. Заплатите за визит, чтобы неповадно было напрасно ходить.

— Доктор, я был пять лет назад.

— Хотя бы десять. Раз здоровы, не ходите.

Доктор Наук взял мою одежду, выкинул на середину зала ожидания:

— Полюбуйтесь. Здоровый отнимает у вас, больных, время.

И стыдно было одеваться при дамах и хорошо ощущать себя здоровым. Одевшись, я крикнул в кабинет доктора:

— Спасибо, доктор!

СТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКА

Я ехал на юг. В Константинополе мне сказали:

— Вы удачно едете. Скоро зацветет миндаль, зацветет алоэ!

Миндаль, алоэ!

Звучит-то как. Наконец-то я увижу что-то красивое-красивое. Увижу самое прекрасное.

Поехал дальше. Увидал. Цветет миндаль.

Ну да, цветет. Красиво. Да, очень красиво.

Вишни и яблоки тоже красиво цветут, даже лучше на яркой зелени и в голубом небе.

Миндаль на фоне белого неба. От мельчайшей пыли, наполняющей горячий воздух, небо кажется белым.

А вот — алоэ — молодец! Увидал я этого хулигана за городом. Обломанный палками прохожих, истерзанный, безобразный алоэ расцвел большим огнистым цветком. Как будто хулиган, голый, избитый, остановился у ворот огорода и улыбнулся!

Улыбнулся так ярко, так хорошо, что весь стал красивым!

— Молодец, Алоэ! Цвети! Ты хорош и растерзанный! Твой цветок поет, звенит! Какое нам дело до выхоленных цветов, богатых садов! Цвети, выгнанный, оборванный, цвети, обломанный.

Стоило ехать на юг, стоило спешить, чтобы видеть, как ты ярко, громко цветешь!

* * *

В 1907 году, уезжая с Новой Земли, взял камешек и сказал:

— Новая Земля, этот камень брошу в Большой канал в Венеции. Не попал в Венецию. Камень был в Иерусалиме, у Мертвого моря, у прудов Соломона, в Хевроне. В Хеврон

и Вильгельма не пустили. Я был к великому испугу каймакама (градоправителя). Оный дал переводчика, двух телохранителей. Камень был на пирамиде Хеопса, в Колизее, был в Афинах. Но не в Венеции. Обмануть Новую Землю? Оттолкнуть прижавшуюся к руке вольную птицу?

Тогда и Солнце не обнимет!

С хорошим человеком послал камень, заказал сказать:

— Новая Земля! Не довез, возьми!..

* * *

Вспомнил случай на базаре в Архангельске. Торговля шла тихо, день не базарный. Две торговки ругались без сердитости, просто не о чем было разговор вести...

Одна назвала другу — барыня!

Ох! Обруганная вскочила, она от обиды просто задыхалась!

— Врешь, врешь! Всю жизнь была честной женщиной! Ни одного дня не была барыней!!!

Ах! Хотелось поблагодарить торговку.

А было это лет пятьдесят с гаком тому назад!

У нас бар и чинов не считали людьми(!) У них души нет...

* * *

Середка сыта — концы играют,
руки машут, ноги пляшут,
язык песенки поет.

Семь человек — печка.

Горница с улицей не спорница:
на улице мороз, в горнице поморозница.

Кинь кроху на лес, пойдешь и найдешь.

У скупа не у нета.

Меня скупым не зовут, а смогу ли напомнить новое? Встретилась старуха, спрашивает:
— Што тебя не видать: ни в сноп, ни в горсть?
Спросил старика:
— Што долго не заходил?
— Заделья не было.
Пришел помор — капитан один.
— Что жена не пришла?
— Не выторопилась.
Ох, Петр да свет Васильевич!

Не возьми в обиду, что поговорки кое-какие и идут кое-как. К слову, к месту бегут, выстраиваются... На поклон легки, на слово скоры, хороводы ведут, словами узор плетут. Только успевай записывай: откуда берут, куда кладут!

Так и сказки: сижу пишу.

Вдруг радио: ГОВОРИТ МОСКВА!

Кто говорит: лучше этого слова и нет. А, знать, пора спать.

А бывало и так, что сказка не отпустит! Ежели я в бабкиной юбке с двумя самоварами полетел на Луну? Никакой остановки! Надо долететь, поглядеть и домой воротиться!

Часто бывает и так: легко пишется, да не легко печатается.

Выкинули «Уйма в город на свадьбу пошла». Нельзя Соборна колокольня взамуж за пожарну каланчу пошла. Возмутились антирелигиозники. Колокола звонят.

Выкинули «Лётно пиво» — борьба с алкоголем. А я спиртного и не пью. (Вот как встречу 2000 год — выпью только виноградного). В Риме я хлестал! За обедом литр!

И цена ему была 8 к. Это было недавно — в 1907 году. Извините, Вы-то не запомнили. Без сказки «Лётно пиво» нет пояснения, как девки в гал вылетели!

Сказывали небывальщину-послыхальщину: по поднебесью медведь летит. Летят от нас на самолетах и бурые, и белые. Разлетаются по зверинцам.

Мнится мне и сказать охота другу неслыхальщину: по поднебесью Землю пашут, снопами машут, на Землю урожай складывают.

Петр Васильевич, голубчик. Не думайте, что я того — заговариваюсь...

Нельзя класть запрет мысли. Пусть летит, вьется. Говорят: человек не может придумать, чего не может быть. Если моя баба на радии в гости летала, а это правда, даже в печати обсказано, хотя и с моих слов, а сказано — значит, правда.

Очень захотелось увидать Вас на фото. Это, м. б., и не очень трудно для Вас.

Выступал я в доме офицеров. Один полковник в месте, не очень удобном для перехода, подхватил меня заботливо, ласково. Я оглянулся. У детины спина — хоть рожь молоти! Шарнул, что силы моей было! Полковник обрадовался, жмет руку:

— Спасибо за внимание.

На книжке этому милому человеку я написал:

— «За Вашей широкой спиной, за спиной Советской Армии хорошо работникам труда, работникам искусств!»

Крепко Вас обнимаю,

Петр Васильевич!

Не очень протестуйте, мне приятно мысленно Вас обнять. Мой портрет в книжке. Мой рост — как у Наполеона. В 1812 году мы с ним мерялись в Москве. Что я ему сказал, в книжке написано.

Ст. Писахов

СЛОВАРЬ МАЛОИЗВЕСТНЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

Андели (ангелы) — возглас крайнего удивления, восхищения, радости, испуга.

Баситься — украшаться, прихорашиваться. Баса — красота.

Буди — будто, словно.

Взаболь — в самом деле, истинно, точно, всерьез.

Взабольшной — настоящий.

Втора — (что за втора!) чудо, диковина, небывальщина, вздор.

Выгалить — выпрыгнуть, подняться вверх.

Вызняться — подняться в воздух.

Выступки — род женских башмаков с высокими передами и круглыми носками.

Выть, в одну выть — за один раз, присест.

Гал, в гал — в лет, вверх, с подскоком.

Другомя — иначе.

Гунушки — приятная улыбка.

Изгаляться — зубоскалить, издеваться, поднять на смех.

Карбас — беломорская лодка на четыре-десять весел под парусом.

Кинать — бросать, кидать.

Кокора — часть дерева с изогнутым корневищем.

Корить — бранить, упрекать.

Короб — кузовок, лукошко.

Кротенька — женская шубка, телогрея, крытая парчой, штофом.

Новы — иные, некоторые.

Обрядня — женское хозяйствование по дому, у печи.

Обряжаться — стряпать, управляться у печи.

Опекиши — всякое печенье.

Оплечье — вставной лоскут, полоса, образующая плечо.

Парусоль — зонтик от солнца.

Паужна — еда между обедом и ужином.

Пахать — мести, выметать.

Передызье — часть крестьянского дома между собственно избой и хозяйственными пристройками.

П е ш н я — железный лом с деревянной рукоятью.

П о в е т е р ь — попутный ветер.

П о в е т ь — сеновал, навес или чердак дворового строения.

П о д в о л о к а — чердак.

П о р а т о очень.

П о л а г у ш к а — деревянная посуда для молока.

П о р о ч к а черпак, большой ковш.

П р и б а с ы — украшения.

П р о м ы ш л е н н и к и — промысловики.

Р о п а к — громоздкая морская льдина, стоящая ребром.

Р ы б н и к — кулебяка или пирог с цельной рыбой.

С к а т ь с я — от скать, мотать — бегать из угла в угол.

С о ч е н ь (сгибень) — лепешка, испеченная с загнутыми краями.

С п о р ы д а т ь — всходить (о солнце).

Т у е с ь е (туес) — берестяная посуда с тугой крышкой.

Ч и щ е м и н а — расчищенная из-под леса новина.

Ш а й к а деревянная посудина с ручками по бокам.

Ш а н ь г а — ватрушка, сочень, просто лепешка.

Ш е п т а л а — сушеные персики, курага.

Ш а р к у п к и — упряжной бубенчик, погремушка.

Ш и р к а т ь — шаркать, скрести, царапать.

Ш т о ф н и к — шелковый сарафан.

СОДЕРЖАНИЕ

СКАЗКИ

ОЧЕРКИ

Для детей старшего школьного возраста

Степан Григорьевич Писахов

ЛЕДЯНА КОЛОКОЛЬНЯ

Редактор И. М. Галактионова

Художественный редактор Л. Е. Безрученков

Технический редактор И. И. Павлова

Корректор Т. А. Лебедева

ИБ № 6450

Сдано в набор 27.09.91. Подп. в печать 03.03.92. Формат 70×108 1/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 14,0. Усл. кр.-отт. 14,70. Уч.-изд. л. 14,61. Тираж 50 000 экз. Заказ № 2261. С.31. Изд. инд. ЛХ-435.

19 г 29

Издательство «Советская Россия» Министерства печати и информации РСФСР. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и информации РСФСР 144003, г. Электросталь Московской области, ул. Тевосяна, 25.